

Искандер ШАКИРОВ

АНАМНЕЗ
ДЕКАДЕНТСТВУЮЩЕГО
ПЕССИМИСТА

Искандер Шакиров

**Анамнез декадентствующего
пессимиста**

«Автор»

2016

Шакиров И. А.

Анамнез декадентствующего пессимиста / И. А. Шакиров —
«Автор», 2016

Ему хочется написать самую простую книгу, об утонченном и странном юноше, страдающем раздвоением личности, об ученике, который не может примириться с окружающей действительностью. Анархист по натуре, он протестует против всего и в конце концов заключает, что на свете нет ничего-ничего-ничего, кроме ветра. Автор симпатизирует своему герою. Текст романа можно использовать в качестве гадательной книги, он сделан из отброшенных мыслей и неоконченных фраз. Первое издание книги вышло в 2009 г. в уфимском издательстве «Вагант».

© Шакиров И. А., 2016

© Автор, 2016

Искандер ШАКИРОВ

АНАМНЕЗ
ДЕКАДЕНТСТВУЮЩЕГО
ПЕССИМИСТА

УДК 821.161.1 "1992/..."
ББК 84(2Рос.Рус)6
Ш17

Шакиров И.А. Анамнез декадентствующего пессимиста. Изд-ие 2-е, перераб. и дополн. – Уфа, Мир печати, 2015. – 470 с.

Ему хочется написать самую простую книгу, об утонченном и странном юноше, страдающем раздвоением личности, об ученике, который не может примириться с окружающей действительностью. Анархист по натуре, он протестует против всего и в конце концов заключает, что на свете нет ничего-ничего-ничего, кроме ветра. Автор симпатизирует своему герою.

Текст романа можно использовать в качестве гадательной книги, он сделан из отброшенных мыслей и неоконченных фраз. Первое издание книги вышло в 2009 г. в уфимском издательстве «Вагант».

ISBN 978-5-9613-0350-6

© Шакиров И.А., 2015.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Глава 1. Пролог
- Глава 2. Поэтический метод
- Глава 3. Поток сознания
- Глава 4. Метод деконструкции
- Глава 5. Метод гипертекста
- Глава 6. Постмодернистский метод
- Глава 7. Нить
- Глава 8. Фрагментарный метод
- Глава 9. Мир людей
- Глава 10. Женский элемент
- Глава 11. Природа человека
- Глава 12. Деньги, люди и классовый подход
- Глава 13. Страна Россия
- Глава 14. Начало приступов
- Глава 15. Об искусстве
- Глава 16. Однообразие дней
- Глава 17. Под властью депрессии
- Глава 18. In vino veritas
- Глава 19. Одиночество
- Глава 20. Идеальный монолог
- Глава 21. Философ в городе
- Глава 22. Dasein и проблема реальности
- Глава 23. Возвращение в детство
- Глава 24. С чистого листа
- Глава 25. Палиндромия
- Глава 26. Отчужденный человек
- Глава 27. Сердечная непригодность
- Глава 28. Суицид
- Глава 29. Неопределенное присутствие
- Глава 30. История с девушкой
- Глава 31. Заколдованность
- Глава 32. Во все тяжкие

- Глава 33. Любовь
- Глава 34. Невозможность отговорить
- Глава 35. Несколько женских писем
- Глава 36. Бессмертие
- Глава 37. Лечение
- Глава 38. Пауза
- Глава 39. В ожидании зимы
- Глава 40. Чай с мальчиком
- Глава 41. *Pacta sunt servanda*
- Глава 42. Трусость и боль
- Глава 43. Набожность, цинизм и масскульт
- Глава 44. Игра исчезновения
- Глава 45. Опоздание
- Глава 46. Догадки
- Глава 47. Синее платье
- Глава 48. Зверьки
- Глава 49. Факт смерти
- Глава 50. Время последствий
- Глава 51. Эпилог

Искандер Шакиров

АНАМНЕЗ ДЕКАДЕНТСТВУЮЩЕГО ПЕССИМИСТА

Глава 1. Пролог

У каждой истории – своя болезнь... Предупреждая раздражение, сразу сообщаю – это очень длинная история. Проставленный заголовок, несмотря на его истинность, только – маскировка. Настоящее название лежит на самом дне этого длинного текста, понятным оно станет только после прочтения, и уже не сможет внести смятение в умы целомудренных читателей.

Анамнез (гр. *anamnesis* = воспоминание) – совокупность медицинских сведений, получаемых врачом от больного или его близких при опросе об истории развития болезни и его жизни; результаты такого опроса, собираемые с целью их использования для диагноза, прогноза, лечения, профилактики.

A priori – знание, предшествующее опыту и независимое от него. Априорным называется взгляд, правильность которого не может быть доказана или опровергнута опытом. Главный тезис гносеологии Платона состоит в том, что знание – это припоминание. Отсюда ставка на интуицию. Но последняя обеспечивается искусством диалектики как «определённой способности задавать вопросы для разрешения соответствующей проблемы».

Эта ситуация подобна тому, что фрейдизм называет «комплексами». Комплекс о себе никогда не говорит, таится, пытается ускользнуть от прямого анализа, и нужна сложнейшая психоаналитическая практика, чтобы человек вспомнил, что в младенчестве его напугало, к примеру, погремушка или кот, и это оказалось его главной жизненной проблемой. Доктора Фрейд и Фромм записывают в анамнезе, что именно с этого момента у мальчика возникло притяжение к...

«Во время нашего сна в наших сновидениях мы проходим через всё течение мысли раннего человечества. Я имею в виду, что человек рассуждает в своих сновидениях таким же образом, как он делал в бодрствующем состоянии многие тысячи лет. Сновидение уносит нас назад, к ранним стадиям развития человеческой культуры, и дает нам средства для лучшего ее пони-

мания». «После исчерпывающего обсуждения Вайтцем единства человеческого рода не может быть никакого сомнения в том, что психические особенности человека в основном одинаковы во всем мире». «Бастиан вынужден был отметить потрясающее единообразие фундаментальных идей человечества по всему земному шару».

Отвергая постмодерн как «повторение», Лиотар ратует за постмодерн, достойный уважения. Возможной его формой может выступать анамнез, смысл которого близок к тому, что М. Хайдеггер вкладывает в понятия «воспоминание», «превозмогание», «продумывание», «осмысление» и т.п.

Анамнез отчасти напоминает сеанс психоаналитической терапии, когда пациент в ходе самоанализа свободно ассоциирует внешне незначительные факты из настоящего с событиями прошлого, открывая скрытый смысл своей жизни и своего поведения. Результатом анамнеза будет вывод о том, что основное его содержание – освобождение, прогресс, гуманизм, революция и т.д.

«God knows what you mumble to yourself while looking for your pince-nez or you keys...»
VI. Khodasevich

«Бог знает, что себе бормочешь, ища пенсне или ключи...»
Вл. Ходасевич

Позвольте тем временем советовать грядущему, или же настоящему читателю, если он подвержен меланхолии, пусть не ищет знаков или провозвестий в том, что сказано ниже, дабы не причинилось ему беспокойства, и не вышло более зла, нежели пользы, если он применит это к себе... как большинство меланхоликов.

R. Burton. Anatomy of Melancholy. Oxford, 1621.

Глава 2. Поэтический метод

Ты не найдёшь, да, наверное, и не станешь искать скрытые тексты, феноменальные шифры в этой «книге маленького бреда», возведшего себя в систему. Зачем тебе эти дурацкие шеренги непонятных знаков? Эти столбцы, строки, точки, выдумки греков. Можно и без этого жить, посмеиваясь. Значенье, хорошее или плохое, никогда не станет известным, не сможет отгадкой единственной стать. Три точки справа, три точки слева, а между ними – всё, что захочешь... Вы, может быть, думаете: это – ничего? А вот поставишь там закорючку в правильном месте и всё налаживается – жизнь, как стихотворение, обретает некоторую бессмысленность или хотя бы законченность, что одно и то же. Вашей загубленной жизни я и посвящаю следующее стихотворение.

Мы только вероятные пространства, меж них, меж точек, въедливых в ничто. Мы – испаряемся. Они – дымятся. Они – тьма беспристрастной жеребьёвки, истошность беспросветности, рутина. Он оком обвёл весь смеющийся скот и сказал: принадлежность – их цель. В конце концов жизнь – разве это не густо: затянутый звук, истонченный к концу? Чем дальше уходишь, тем выше искусство, но сердца глубины тем больше к лицу.

Главное решить: искусство похоже на жизнь, или жизнь – на искусство. Природу стихосложения удачно объяснил в свое время английский поэт медвежонок Винни Пух: надо позволять словам вставать там, где им хочется, и они сами найдут для себя нужное место. «Для чего нужен поэт? – Чтобы спасти город, конечно».

Не будем продолжать этот перечень. Пусть каждая замеченная параллель станет как для читателей, так и для грядущих исследователей маленьким личным открытием. И если сумма этих открытий поможет расслышать движение таинственных токов по стволу единого дерева поэзии, мы сможем сказать слова благодарности тому, кто в них вряд ли нуждается.

Зачем это было нужно, толком никто не знал, и меньше других – Пушкин, лучше прочих почувствовавший потребность в переключении окружающей жизни в стихи. Он поступал так же, как дикий тунгус, не задумываясь певший про встречное дерево, про всякую всячину, попадающуюся на глаза, сличая мимоидущий пейзаж с протяженностью песни. В его текстах живет первобытная радость простого названия вещи, обращаемой в поэзию одним только магическим окликом.

Но Пушкин нарочито писал роман ни о чем. В «Евгении Онегине» он только и думает, как бы увильнуть от обязанностей рассказчика. Роман образован из отговорок, уводящих наше внимание на поля стихотворной страницы и препятствующих развитию избранной писателем фабулы. Действие еле-еле держится на двух письмах с двумя монологами любовного кви-прокво, из которого ровным счетом ничего не происходит, на никчемности, возведенной в герои, и, что ни фраза, тонет в побочном, отвлекающем материале. Здесь минимум трижды справляют бал, и, пользуясь поднятой суматохой, автор теряет нить изложения, плутает, топчется, тянет резину и отсиживается в кустах, на задворках у собственной совести. Ссора Онегина с Ленским, к примеру, играющая первую скрипку в коллизии, едва не сорвалась, затертая именными пирогами. К ней буквально продираешься вавилонами проволочек, начиная с толкучки в передней – «лай мосек, чмокание девиц, шум, хохот, давка у порога», – подстроенной для отвода глаз от центра на периферию событий, куда, как тарантас в канаву, поскользывается повествование.

На все случаи у него предусмотрены оправдания, состоящие в согласии сказанного с обстоятельствами. Любая блажь в его устах обретала законную санкцию уже потому, что была уместна и своевременна. Ему всегда удавалось попасть в такт.

Поэзия, в представлении Пушкина, основывается на припоминании уже слышанных некогда звуков и виденных ранее снов, что в дальнейшем, в ходе работы, освобождаются из-под спуда варварских записей, временной шелухи, открывая картину гения. Та картина существует заранее, до всякого творчества, помимо художника, дело которого ее отыскать, припомнив забытое, и очистить. Вот он и крутится, морщит лоб, простирает руки к возлюбленной: «Твои небесные черты...» – к возлюбленной ли? а не, вернее сказать, к той младенческой свечке-лампочке, что сияет перед нами в тумане, как некая недоступная даль?

Ещё не начали о поэзии, хотя перевернута едва ли не последняя страница покуда не утвердившей себя ни во вдохе, ни в выдохе книги.

Память тела несовершенна и фрагментарна, почерк сна дрожащ и невнятен. В закорючках угадывается: и без филологического выстукивания и выслушивания понятно, что «знаки» не обмениваются больше на «означаемое», они замкнуты сами на себя. Неотвязно тебя преследуют и к делу совершенно не относятся.

Вне него самого расположены дезоксирибонуклеиновые спирали слова, серебро фотографий, чернеющих в камне, браслете и рыб из фольги. Поэзия – не признание в любви, языку и возлюбленной, но дознание: как в тебе возникают они – изменяя тебя... в сообщение? в плод? Пытается убедить в том, что её как бы не существует. А что существует? Самое лучшее средство вопроса состоит в следующем.

В жизни каждого поэта... бывает минута... когда его будущая поэзия вдруг посылает ему сигнал... Эта минута неизъяснима и трепетна, как зачатие... После нее все дальнейшее – лишь развитие и вынашивание плода...

Если доверять языку, понимаешь, что мир тянется к тебе со всех сторон и хочет разговора, однако за сопротивление этому доверию платишь биографией, то есть не оставляешь следов на земле, а может быть, и выше. Всё это получит своё объяснение.

Поэт всегда может найти выход, на словах, из тупика. В конце концов, это его призвание. И я здесь не для того, чтобы говорить о затруднениях поэта, который, если разобраться, нико-

гда не бывает жертвой обстоятельств. Я здесь для того, чтобы поговорить об участии аудитории, о вашей, так сказать, судьбе.

Можно с уверенностью утверждать, что природа, или, иначе говоря, совокупность всех вещей, составлена, устроена так, чтобы производить поэтическое действие. Стихотворение как бы говорит читателю: «Будь как я». Поэт при этом прекрасно сознает, отчего нужно делать так, а не иначе, ибо не жалеет времени на размышление и исследование... Однако некоторые сочинители стихов в таких случаях погружаются в молчание, либо отгораживаются от мира малопонятными приемами.

Вывод тот, что нет противоречия между методом, которым пишет поэт, методом, которым действует воплощающий его актер внутри себя, методом, которым тот же актер совершает поступки внутри кадра, и тем методом, которым его действия, его поступки, как и действия его окружения и среды (и вообще весь материал кинокартины) сверкают, искрятся и переливаются в руках режиссера через средства монтажного изложения и построения фильма в целом. Ибо в равной мере в основе их всех лежат те же живительные человеческие черты и предпосылки, которые присущи каждому человеку, равно как и каждому человеческому и жизненному искусству.

И человек тоже, каждый раз по-иному определяя монотонность своего несчастья, оправдывается перед своим рассудком только страстными поисками нового прилагательного.

Всякий александрийский стих исходит поначалу из потребности проветрить слова, из потребности компенсировать их увядание бойкой утонченностью, но все оканчивается утомлением, в котором ум и слово расплываются и разлагаются. Наделив его злобностью и упорством – нашими преобладающими качествами, мы сделали все от нас зависящее, чтобы сделать его как можно более живым: мы израсходовали все силы, чтобы создать его образ, сделать его ловким, непостоянным, умным, ироничным и, что самое главное, мелочным.

Приподнимем же покрывало: соответствует ли оболочка этих слов их содержанию? Возможно ли, чтобы одно и то же значение жило и умирало в словесных разветвлениях единого ствола неопределенности?

А ведь существует еще тональность. Боюсь, Ваша тональность будет «благородной», «утешительной», приправленной здравым смыслом, чувством меры или изяществом. Следует отдавать себе отчет, что в книге не должно быть гражданского пафоса и духовных скреп, что она должна потакать нашим странностям, нашей фундаментальной непорядочности и что «гуманный» писатель, слепо следующий расхожим идеям, тем самым подписывает свидетельство о собственной литературной смерти.

Вот как Уилсон иллюстрирует эту мысль. Он предлагает рассматривать экспедицию Колумба в 1492 г. как произведение искусства. В чем тогда смысл этого искусства? Всего несколько десятилетий назад смысл состоял примерно в следующем: Колумб был отважным человеком, предпринявшим, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, рискованную экспедицию, в результате которой была открыта Америка – Новый Свет – и тем самым была принесена культура и цивилизация довольно примитивным и отсталым народам.

Сегодня многие склонны придавать этому другой смысл – Колумб был сексистом, империалистом, лживым и трусливым подонком, который отправился в Америку с целью грабежа и мародерства и в ходе своей экспедиции распространял сифилис и другие напасти встречавшимся ему повсюду миролюбивым народам.

«Сказка, – твердил Новалис, – есть как бы канон поэзии. Всё поэтическое должно быть сказочным... Сказка подобна сновидению, она бессвязна... Ничего не может быть противнее духу сказки, чем нравственный фатум, закономерная связь. В сказке царит подлинная природная анархия».

Глава 3. Поток сознания

Трогаю, оплодотворяю строки (*курсив мой*), леплю, слова, пластилиновые, фокуснические фразы, отказывающиеся повиноваться (закруглю потом) – сумбурный бред, – подбираю как патроны, трачу, ловлю на словах, их больше, чем встретишь прохожих на улице, мне это напоминает крааль (списываю со словаря): изображение неизобразимого, так наивно срисую, – что – удвоенный бред, – пиши как дышишь, как живешь <нрзб.> – вообще, звуки на сцене не только слова, а обыкновенные, сугубо вспомогательные, казалось бы... как хочу играю. Мягкие, мохнатые... их вдруг наполнит смыслом, заморозит число и явится поверх улыбки слова.

Как бы то ни было, я понимал, насколько тяжело подбирать слова, складывать из них фразы так, чтобы получившееся целое не рухнуло под грузом собственной бессвязности и не потонуло в тягомотине.

Мы видели, каким образом стремление обнаружить ключевые признаки и осмыслить их всегда активно присутствует в нашем зрении и слухе, а также в наших опасениях и желаниях. Неустанное стремление понять происходящее, равно как и язык, его описывающий, несомненно, представляют собой развитие этого изначального стремления к интеллектуальному контролю. Ощущение интеллектуального дискомфорта, подобное тому, которое побуждает наши глаза представлять видимые нами вещи отчетливыми и связными, заставляет и наши понятия в ходе формирования развиваться от неясных к ясным, несвязных к связным.

Смешную фразу надо лелеять, холить, ласково поглаживая по подлежащему. Нужно уметь вить из фразы верёвки. И ходить по ней, как по канату. По воздуху. Ни за что не держась. Вне тела. Без формы. Как чистый дух.

Как приятно (и как страшно), набравши побольше воздуха и не зная толком, с чего начать, нырнуть в обжигающую на первых ударах фразу, которая размыкается и смыкается за тобой, как вода, и не имеет к тебе отношения, пока ты не войдешь в нее полностью и, почувствовав внезапную помощь, прилившую извне, из этой речи, куда ты неосмотрительно прыгнул, не доверишься вашему общему с ней течению, руслу с риском захлебнуться и не выплыть никогда, что, сжалившись и взяв тебя тихонечко на руки, уже, кажется, подталкивает к предмету, о котором ты брался писать, если бы вдруг не заметил, что он теперь уж не тот, и дело к вечеру, и надо плыть, не капризничая, молча повинуюсь согласной с тобой еще цацкаться матери, и хочешь не хочешь оставить замашки свои при себе, и погрузиться на самое дно, где, почти потеряв сознание того, о чем говоришь, сказать наконец нечто тождественное этой силе, что, вытолкнув тебя на поверхность, свидетельствует о своей доброте, но не об опытности пловца. Из фразы выходишь немного пристыженным и ошарашенным тем, что сказалось.

...И даже не представляют собой последовательного сцепления мыслей – стиль вольных ассоциаций. Посему нет смысла стремиться к соблюдению последовательности в нашем рассказе. Искусство рассказывания в значительной мере держится на постепенности вхождения в частности и детали. Речь должна быть медленной, глубокомысленной, рассеченной паузами на предметно-весомые отрезки. Еще речь должна быть душистой или лучистой. Чтобы к ней хотелось еще и еще вернуться. Чтобы фраза дышала тайным восторгом, азартом. Чтобы, читая, хотелось еще в нее поиграть. В общем, диспозиция ясна, так что перейдем к рассказу.

«Нефть» – я записал, – «это некий обещанный человек, заочная память, уходящая от ответа и формы, чтобы стереть начало, как по приказу сына был убит Улугбек». Форма огня – свободная. А раз свободная, каждый сам решает своим сердцем что в нем увидит. Тебе становится спокойно – значит, живущее в тебе спокойствие просто отражается в огне.

Напряжением замигает экран – рамочка знаний сегодня. Зачем я буду мир, который есть как бы город громоздить, когда мне только маленький домик нужен? Не пройти через чашу, а зачем проходить? Кто знает, почему мы делаем то, что делаем.

Пишу сумбурно и вразброс. Чем дальше, тем сильней гипноз. Гипнотизирование текстом носит весьма творческий характер, потому что, когда вчитываешься, хочется продолжать писать прямо там, где читаешь.

Куда ведут ваши слова или на что намекают? Ничего решительно не понимаю. Изъяснитесь удовлетворительнее. Направления мысли, в котором мысль отсутствует... По-моему, просто набор слов. Может это какие-то заклинания? Ты не размазывай, а прямо скажи. Непонятному можно придать любой смысл.

Понятнейшее мышление всегда стремится к ясности и точности сказанного. В художественном мышлении возможны случаи сознательной, или, как говорят, жанровой, туманности и темноты литературного текста. Литературоведы иногда называют ее «бессвязной речью». В общем случае туманность и темнота – неприятные, хотя зачастую неизбежные спутники общения с помощью языка. От них желательно по мере возможности избавляться. Но жанровые туманность и темнота, свойственные иногда художественному образу, имеют все права появляться в нужное время на удобной для этого сцене.

«А вот и некому попенять мерзавцу за его бред». Но разве кто-нибудь осудил древние армии, таскавшие в обозах целые стада блеющих любовниц, кто-нибудь пожалел плоды подобных походов – плачущих малышей-силенов, брошенных на обочинах победных дорог? Хорошо ещё, что некоторых усыновили сердобольные мифы. Как говорят психиатры, «с каждым человеком надо говорить в формате его бреда», то есть на его языке.

Но сама герметическая традиция интерпретации не поддается. Отсюда алхимическая поговорка, что те авторы, которые темнят, пишут сложно и непонятно, пишут правду, а если вам кажется, что вы что-то понимаете – тут что-то не то, какая-то фальшивка.

Глава 4. Метод деконструкции

Книга, которая ходит вперед и назад, наступает и отступает, то придвигается вплотную к читателю, то убегает от него и течет, как река, омывая новые страны, так что, когда мы по ней плывем, у нас начинает кружиться голова от избытка впечатлений, которые при всем том текут достаточно медленно, предоставляя спокойную возможность обозреть их и провожать глазами; книга, имеющая множество сюжетов при одном стволе, которая растет, как дерево, обнимая пространство целостной массой листвы и воздуха, – как лёгкие изображают собой перевернутую форму дерева – способная дышать, раздаваясь вширь почти до бесконечности и тут же сжимаясь до точки, смысл которой непостижим, как душа в ее последнем зерне.

Это структурная невозможность закрыть... сеть, фиксировать её плетение, очертить её межой, которая не была бы метой. Текст-письмо – это романическое без романа, поэзия без стихотворения, эссеистика без эссе, письмо без стиля, продуцирование без продукта, структурация без структуры. Ризома как организационная модель находит свою конкретизацию в постмодернистской текстологии, – в частности, в фигуре «конструкции» концепции художественного творчества, в рамках которой идеал оригинального авторского произведения сменяется идеалом конструкции как стереофонического потока явных и скрытых цитат, каждая из которых отсылает к различным и разнообразным сферам культурных смыслов, каждая из которых выражена в своём языке, требующем особой процедуры «узнавания», и каждая из которых может вступить с любой другой в отношения диалога или пародии, формируя внутри текста новые квазитексты и квазичитаты. Это делает невозможным любой критический анализ, ибо стоит последнему возникнуть – и он попросту сольется с этим текстом.

Культура корневища символизирует рождение нового типа чтения: главным для читателя станет не понимать содержание книги, а пользоваться ею как механизмом, экспериментировать с ней. Читать – значит желать произведение, жаждать превратиться в него, отказаться от попытки продублировать произведение на любом другом языке, помимо языка самого произведения.

Пародийное гибридно-цитатное двуязычие сращивает прошлое с настоящим, высокое с низким, элитарное с массовым, способствует деканонизации канонизированного, раскрепощает сознание читателя, которого ничему не поучают, а вовлекают в чтение-игру, имеющее

начало, но не предполагающее конца. В противовес построению книги как круга, когда произведение выступает в виде некоторого замкнутого, закрытого, завершённого мира.

На первый план концептуалистами выдвигается воссоздание типичных структур мышления, стереотипов массового сознания. «Вообще вся концептуалистская продукция может рассматриваться как непрерывный эксперимент по формализации, перестраиванию и конструированию огромного числа всевозможных мнений, оценок, состояний, их именованию, сопоставлению, уточнению, каталогизации и т.п.». Естественно в связи с такой установкой использование всевозможных языковых штампов, автоматически воспроизводимых знаков – разговорных, политических, канцелярских, литературных. Но они извлечены из закрепившегося за ними контекста, представлены в пародийном виде, образуя «кирпичики», из которых выстраивается некая абсурдистская реальность. Цитатное письмо в сочетании с симптоматическим чтением. Не случайно самой популярной игрушкой детей конца XX в. стал трансформер. Современный человек в этой системе ценностей есть «все», но в то же время «ничто». При этом происходит распад личности: она удваивается, утраивается, становится множественной и в этом состоянии перестает быть личностью.

Это распад искусства на элементарные частицы. Это связность, организуемая чередованием бессвязного. Чередование как образующая основа стиля, как основа построения, как движущая сила. Этот вакуум, состоящий из калейдоскопа бессвязных чередований, в то же время уничтожающий любую внутреннюю связанность, последовательность, продолжительность. «Бергот, по-моему, флейтист... Его творчество не мускулисто, в его произведениях нет, если можно так выразиться, костяка».

В «Манифесте сюрреализма» Андре Бретон дал полное определение сюрреализма: «Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить или устно, или письменно, или любым другим способом реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений... Сюрреализм основывается на вере в высшую реальность определенных ассоциативных форм, которыми до него пренебрегали, на вере во всемогущество грез, в бескорыстную игру мысли. Он стремится бесповоротно разрушить все иные психические механизмы и занять их место при решении главных проблем жизни».

Тексты воссоздавали скорее картины разнообразных сновидений, сновидческих видений. Таким образом сюрреалисты надеялись вернуть подлинный мистический абрис мира, с помощью которого предстояло сбросить те трафареты восприятия, которые сложились в результате усиленной эксплуатации разума. Отдельные явления, как и предметы внешнего мира, вступали в некую фантастическую связь, которая обрушивала логику. Но эти «разломы» оценивались не как грёзы, а как некие наития, внезапные прозрения.

Батай продолжает, указывая, что «постановка всего под сомнение» противостоит человеческой потребности насильственно организовывать все в рамках подходящей целостности и самодовольной универсальности: «С крайним ужасом, властно переходящим в потребность к универсальности, доводимое до головокружения движением, которое его составляет, существо как таковое, представляющее себя универсальным, – это только вызов расплывчатой необъятности, которая избегает его случайного насилия, трагическое отрицание всего, что не является шансом его собственного озадаченного призрака. Однако, как человек, это существо попадает в извилины знания своих собратьев, которые поглощают его субстанцию, чтобы свести ее к составляющей того, что выходит за рамки опасного безумия его автономии в тотальной тьме веков».

Дело не в том, что у самого Батая не было какой-либо системы, а просто в том, что система ускользает. «Беда Батая в рассуждениях: конечно, он рассуждает как некто, у кого «на носу муха», что ставит его ближе к мертвым, чем живым, но он все же рассуждает. Он пытается с помощью крошечного внутреннего механизма, который еще не полностью вышел из строя,

поделиться своими навязчивыми идеями: сам этот факт доказывает, что он не может заявлять (что бы он ни говорил), что находится в оппозиции к любой системе, как тупая скотина».

Дальше – одни черепахи, что вверх, что вниз, подмечает Уилбер. Что деконструкция ставит под сомнение, так это желание найти окончательное место успокоения, будь то целостность, частичность или что-то посередине. Каждый раз, когда кто-то находит окончательную интерпретацию текста или произведения искусства (или жизни, или истории, или космоса), деконструкция не преминет сказать, что окончательного контекста не существует, потому что он также бесконечно и навсегда служит частью другого контекста. По словам Фуллера, окончательный контекст любого сорта недостижим как в принципе, так и на практике. Смысл ограничен контекстом, но контекст безграничен.

Со смертью авангарда и триумфом иронии к искусству, похоже, уже не сказать ничего искреннего. Нарциссизм и нигилизм воюют за главную сцену, на которой, по их мнению, по существу, ничего нет. Кич и халтура наползают друг на друга в борьбе за представительство, которое все равно уже ничего не значит.

В действительности, один и тот же текст можно прочесть с двух сторон – лицевой и изнаночной. Впрочем, в анналах постмодернистского восприятия мира – изнанка и есть существо. И этим легко воспользоваться в политических целях. Как пессимизм и оптимизм представляют собой два противоположных прочтения одного-единственного текста, читаемого либо философом по имени Тем-хуже, либо его коллегой по имени Тем-лучше, – точно так же все оборачивается хорошей или дурной стороной в зависимости от подхода и способа интерпретации книги жизни. Для этого достаточно неуловимой перестановки: собственно говоря, она не выявляет скрытой под видимым текстом тайнописи, как в палимпсестах, не обнаруживает неизвестного загадочного сообщения, написанного симпатическими чернилами, – однако полностью изменяет смысл жизни.

Вещи все равно необходимо двоить, и они вопреки мнению номиналистов постоянно дwoятся. Жан Парвулеско говорит, что «все, приближающееся к своей сущности, раздваивается».

Смысл слов не в них, а между ними, и язык – всего лишь система различий, отсылаемых всеми элементами друг к другу. Главное, что позволяет считать объект идеальным, – это его бесконечная повторяемость, вне зависимости от контекста. Такую возможность, считает философ, предоставляет письмо, через которое мы в отсутствие эмпирического субъекта способны воспроизводить первоначальный смысл, повторять его неограниченное число раз, вникая в него все более глубоко и беспристрастно. Текст – не объект, а карта. Он производится из других текстов, по отношению к другим текстам, которые, в свою очередь, также являются отношениями. Смысл текста заключается не в той или иной из его «интерпретаций», но в диаграмматической совокупности его прочтений, в их множественной системе. Распространяется на весь мир, – поскольку воспринимается, переживается как система различий в смысле постоянных отсылок к чему-то другому.

Сказано, что никакой невесомости нет, а смерть вроде как невесомость жизни. Но важно не это, а то, что самые скандальные, вызывающие поэты-поэтессы, приходя к любовной теме, рано или поздно проговариваются, что самые старые (опорные!) слова и самые новые (только что найденные!), в конце концов, обозначают одно и то же. Искусство же заключается в том, чтобы одно и то же выглядело более привлекательно (отталкивающе), чем у других авторов. Язык птиц состоит из наречий.

Один заключенный писал письма «заочнице», и, поскольку не разбирался в грамматике и писать ему, в общем, было не о чем, он обычно – сам рассказывал – понапишет побольше ничего не значащих слов и зачеркнет их погуще, и так почти всё письмо сочиняется – на одном зачеркивании. Так она эти темные места и на свет смотрела, и молоком размачивала, и все ей мнилось – там самое главное сказано, и она всё просила его воспроизвести еще раз в письме те

зачеркнутые слова. Они ей были всего слаще. Отсюда мы видим, как важен закон поэтической недосказанности.

Мне кажется, что если читать в упор, то концы с концами не сходятся, и нет ни гармонически единого строя речи, ни положительной определённости взгляда... Конечно, есть гениальные строки... (А что в этом удивительного? Художник одними и теми же красками пишет и Иисуса Христа, и грязь на подошве легионера) Но чтение более внимательное от этого первого впечатления ничего, надеюсь, не сохранит.

Основано на спутанности мысли, которая выяснится нам при анализе «фантасмов» научного воображения, столь похожих, на первый взгляд, на продукты эстетического творчества. (Более двусмыслен, скажут его хулители; но ведь двусмысленность – это богатство).

Художник умышленно оставляет в своем произведении некое свободное пространство, предоставляя каждому человеку по-своему заполнять его собственным воображением. Но воображение – это неконтролируемая мысль. Могут спросить, хорошо ли обладать сильным воображением? Хорошо быть сильным самому. Если человек имеет силу ума, тогда и воображение сильно, и мысль сильна, и сам человек силен. Но сильное воображение означает исходящую от человека силу, простирающуюся без его контроля. Поэтому сильное воображение не всегда многообещающе; желательна именно сила мысли. Но что такое мысль? Мысль – это самонаправленное и контролируемое воображение.

Скажем так: ощущения от оргазма (оргазм невероятен тем, что каждый раз будто новый) онтологически отличны от обыденности других ощущений остальной жизни много меньше, чем вдохновение. Это оно, и всё тут...

Выяснить то, что он хотел этим сказать, можно на других примерах.

С чисто физиологической точки зрения оргазм у мужчины всегда сопровождается секундным помутнением рассудка. Эдаким ментальным вакуумом. Моментом истины, во время которого можно увидеть Бога. Гуру, занимающиеся медитацией, могли достигать такого состояния и без секса и часто описывали нирвану как нескончаемый духовный оргазм.

Учитывая бредовый характер нижеизложенного... С одной стороны, каждый сызмала знает, что пользы от таких разглагольствований не будет: запрещено – значит, запрещено. А с другой стороны, в доме повешенного о веревке – молчок. Напрасно болтать неэтично. Все ясно без разговоров. Все всё понимают.

Здесь, думается, нам могут возразить те из читателей, что до сих пор не выражали несогласия с нами. Они могут спросить, а не увязнут ли все высказанные выше соображения в болоте мистификаций – точно так же, как наделена была самостоятельным материальным существованием концепция истории на философском жаргоне не столь давних времен?

И хочешь верь, хочешь нет, дорогой читатель, но как раз разглагольствования подобного рода, от которых обычно мало толку, подводят нас прямо к сути нашего повествования. Хотя он и говорит, что демон помогал ему и в научном творчестве, и в житейских обстоятельствах, но сообщает нам он от него лишь бессмысленные фразы.

Глава 5. Метод гипертекста

Окружающая реальность постепенно исчезла, теряя очертания, словно гаснущий экран в кино. Она может страшить, как глазная повязка, но пролистаешь ты страницу – и увидишь бездонное небо, где взгляд обнажённый утонет. Я остался один и погрузился в мир, затаившийся между страниц. Больше всего на свете я люблю это чувство. В голове становится тихо и уютно, как зимним вечером в жарко натопленной комнате. Медленно, очень медленно возникает рисунок всего повествования... Если ты не слышала этих слов – ты не жила... Тут старуха с постели, очень громко: «Включи себе верхний свет!!! Что ты впотьмах пишешь?!»

Я, как фотоплёнка: всё отпечатываю в себе с какой-то чужой, посторонней, бессмысленной точностью. (блистательно написано, патологическая память) Всё правда... я не пытаюсь

вас растрогать... никаких художественных эффектов... У меня такое чувство, будто я собираю множество рассеянных страниц в одну книгу. Эмпирическая жизнь бессмысленна так же, как выдранные из книги клочки страниц бессвязны. Мы помним не то, что было на самом деле. Память – это набор химических соединений. С ними могут происходить любые изменения, которые позволяют законы химии.

Белый лист бумаги, минуты праздности, случайная описка, погрешность в чтении, перо, которое приятно держать в руке. Во многих включенных в книгу стихотворениях я пытался передать ритуалы, в которые мы так или иначе втянуты повседневно. Ритуал открывает глаза и закрывает их одновременно с текстом, но эти начала и концы особенным образом уходят в небытие, забываются, лишая причинности весь ход следствий, которые мы и принимаем за самостоятельные события; «полёт рассказа» имеет опору в самом себе.

Ему хочется написать самую простую книгу. То будет книга об утонченном и странном мальчике, страдающем раздвоением личности, об ученике, который не может примириться с окружающей действительностью. Анархист по натуре, он протестует против всего и в конце концов заключает, что на свете нет ничего-ничего-ничего, кроме ветра. Автор симпатизирует своему герою.

Но сделана из отброшенных мыслей и неоконченных фраз... Таким образом, я веду борьбу против дискурсивной формы философствования, отстаиваю философию вне дискурса. Подспудная задача книги – полное разрушение дискурса через поток сознания. А иначе зачем он? Застать "жизнь врасплох", уловить то глубинное и призрачное, которое не выразимо ни речью, ни образом, ни жестом, – ускользающе-эфемерное, теряющееся у порога сознания. Уступая ему по значимости, мы превосходим его в чуткости. Однако, философ "поправляет": "Основной особенностью, свойственной произведению искусства, нужно считать бесконечность бессознательности (синтез природы и свободы)", это позволяет отказаться от подражания природе и презреть "законосообразность".

Ты неловок, как Геракл в гостиной. Ты боишься пошевелиться. Любое самое осторожное прикосновение к миру засыпает лавинами мыслей и уносит наводнением чувств. Наивное счастье поступка, простого понятного жеста недоступно тебе. Ты медлишь, бесконечно смакуя, цепко следя, как спектр ощущений восходит от сладкого к горькому и опять деградирует к сладости.

В витрине каждой женщины ты успеваешь поймать свое отражение, а большего тебе и не надо. С любопытством ты разглядываешь эти мгновенные фотографии и удивляешься: все это ты, готовый отлиться в любую форму, но никогда – застыть...

Это уж как водится: известно, что есть думы, которые как будто не продумываются, а влияют прямо на сердце, но даже и сердце при этом (не говоря уж о рассудке) не отдаёт себе отчёта; и получают смутные побуждения, а иногда не очень смутные, которые выливаются в роман, притом что тебе кажется, ты описываешь в романе мысли не свои, а других...

"Помни меня", – говорит пыль. И слышится здесь намёк на то, что, если мы узнаем о самих себе от времени, вероятно, время, в свою очередь, может узнать что-то от нас. Что бы это могло быть? И не станет больше пыли в углах и псам не прорваться сквозь пыль, чтобы неуверенно себя вопрошать, станет ли окончательно ясным... величье рассветов с осторожных постелей, но еще более велики мастера сожалений... Толстая пыль, как жир пустоты, так как в ней никто никогда не жил.

За подборкой, которую вы тут найдёте, не кроется правила более строгого, чем мой вкус, моё удовольствие, моя грусть, или совсем иное чувство, силу которого мне, видимо, будет трудно оправдать. Я привожу эти строчки, потому что они мне нравятся, потому что я узнаю в них себя и, коли на то пошло, любой живой организм, который будет стёрт с наличествующей поверхности... В этих нелепицах, сочиненных тысячу с лишним лет назад, – больше жизни,

чем во всем бесчисленном множестве безличного народа, сновавшего на вокзале. Всем интересно "про себя", потому что про себя никто ничего толком не знает. Почему так бывает?

Это антология существований, собрание бесчисленных кратких жизней в несколько строчек, в пригоршню слов. Единичные жизни, из-за невесть каких случайностей превратившиеся в странные поэмы, – вот что мне захотелось собрать в гербарии. Помнишь, ты спрашивал меня, откуда я всё это взял? Так вот. Всё это снилось мне, пока я собирал всех вас на этих страницах. Моё будущее, настоящее и прошлое, существующие в одной точке, здесь и сейчас, воплотившиеся в сотне с первого взгляда несвязанных отрывков и персонажей. Имена и образы, сцены былого и сны-предсказания, воспоминания о том, чего никогда не было. Все они соединились во мне, от них моя путаница, мой экстаз... Но как представить себе жизнь других людей, если даже своя собственная жизнь едва-едва укладывается в уме?

Что же до самой антологии, то она далека от совершенства (что и естественно, когда первая попытка собрать и осмыслить некоторое явление российской культуры предпринимается в Калифорнии), есть там и над чем посмеяться, но для этого ее надо взять в руки, чего г-н Вербицкий, безусловно, не делал.

То, что последует ниже, только попытка – прямо по ходу мысли и текста – спонтанно уяснить для самого себя то, что спорадически, но постоянно давно уже волновало меня, но не было понято, то есть сформулировано, то есть, опять-таки, понято; потому и мало-мальски интересно лишь тем, кто задумывался над тем же – им и адресуется для согласия или несогласия. Честно говоря, понятия не имею, писал ли уже кто-нибудь об этом и в том же роде – скорее всего, писал кто-то: обо всём кто-то уже писал, и "в том же роде"; но всё равно, если человека что-то мучает, он обречён увидеть это "что-то" и написать о нём по-своему. В конечном счете эта книга – всего лишь попытка понять, что делает нашу жизнь более радостной и стоящей того, чтобы жить. Она была написана не для профессиональных психологов, но для каждого, кто хочет наполнить свою жизнь смыслом. То есть, для вас.

Возникающие в тексте повторы мне представляются витками мысли, пытающейся с разных сторон ощупать и опознать предмет этой самой мысли; поэтому я их сохранил. Да не посетует на меня возможный читатель.

Необязательно обладать тонкостью менталитета и чувствительностью эрогенных зон воображения, чтобы увидеть. Порой достаточно искры сомнения, чтобы стало ясно. Увидев, выжить практически невозможно.

Многозначия не отражают сути. Опускают руки, не оценив тонкости сказанного. Зрители в ужасе сползают под кресла, делая вид, что завязывают шнурки на ботинках. Зато потом они расскажут друзьям, что видели та-а-кое!!!

Абзац, как будто не имеющий права на существование: пока в сюжете всё просто, не так ли? Тем не менее, говорят, будто текст нужно переосмыслить, не «уценив». Конечно, автор может ввести в воображаемый воображаемым потребителем момент потные липкие ассоциации, которыми кишмя кишит... Суфлёры сконфуженно разводят руками. Им нечего и нечем подсказывать. В сущности, все они – плод чьего-то большого воображения.

АНОНИМ: stop! А где же тот самый пресловутый диалог автора с самим собой?! Ведь ради этого диалога, собственно, всё и пишется! Ведь это же гипертекст, он не может так видоизмениться! Я протестую! Где соло реанимационной машины, где вся эта куча суфлёров, где редактор, сломанная пишущая машинка? Примечание: реплики не маркированы. Актёрам и режиссёру следует самим определять, кто произносит что, исходя из логики происходящего.

Говоря честно и грубо – именно языком хочу отпереть темницу, в которой томится жизнь – вот о чём говорю я. Но не путайте – не тем языком, который русский немец определил как мясистый снаряд во рту (хитрость науки состоит в том, чтобы вовремя уточнить начальные условия: в чьём рту?) Косвенная же речь в действительности – самая прямая.

Мне бы хотелось в те края, где в тени бытия жизнь драматична и интересна, где тексты страшны и прекрасны в своём животном напоре, – призываю принять их красоту даже брезгливых, которым противны идущие сплошным шевелящимся ковром лемминги – осознайте величественность их цели – океан, в котором они сгинут; или тараканы, мигрирующие из холодного дома в теплую баню прямо по снегу – рыжая дорога соединяет тепло и холод, усики топорчатся как французские штыки, яйца торчат из яйцеводов смыслов и выпадают – все это один организм и он абсолютно разумен в своей безумности. Нет ничего более сладкого, чем пустить два потока навстречу, чтобы битва и пожирание, гигантский кровавый палиндром, пустеющий на глазах удивленного творца, аннигиляция тез и антитез, – и, наконец, – белая пустыня, усыпанная усиками и ножками, и солнце садится, удовлетворенно краснея. А вы хотите мне зла, хотите совершенно другого, – чтобы, склонившись над столом, я морщился и царапал пером, вдыхая отравленные логикой пары, чтобы в конце страницы при взгляде на сделанное, меня вырвало прямо на бумагу – вы этого хотите? Разве я не населил вам эти страницы – ещё недавно четырёхугольные белые пустыни. Без меня разве бы увидели вас все те, кого я поведу за собой по узким тропинкам строк?

Нежнее и мягче – но достаточно напористо; так, чтобы особо чувствительные читатели (если они вообще добрались до этих строк) вздрогнули с мелькнувшим в глазах восторгом, с еле слышным вскриком. На всем дальнейшем и длиннейшем пути будет много вдохов и выдохов, входов и выходов, введений и выведений – и так до самого окончания текста. Пусть он (читатель) прикинет, однако, что такую длинную книгу и дольше читать, и труднее купить.

Ваши жалобы мне непонятны. Есть все условия, чтобы забыться, и не искать выхода там, где его нашли мы – и в тот момент, когда, казалось, его замуровали. Тем, кто ведёт своё изнурительное наблюдение за этим животным, изучая его повадки и реакции на внешние раздражители, отслеживая броуновские перемещения его мысли (а она, если вы успели заметить, рвётся, как угрюмая кошка из рук, царапая эти самые руки – но, уверяю, что, нагулявшись, вернётся и сама попросится), – тем хочу сообщить следующее.

Начиная писать, я делаю ставку не на встречу с собой и вечным ребенком в себе, не на обретение своей истинной сути со всеми ее теневыми сторонами и прочую тому подобную чушь, – я хочу измениться, оставить позади прежнего себя, ветхого, устаревшего, неинтересного, хочу расти вместе с книгой. Так для чего мы пишем? Чтобы замуровать себя или чтобы освободиться? Чтобы исчезнуть или возникнуть? Завладеть землей или размыть ее и двинуться дальше, нащупывая ветвящееся, трудно уловимое сродство?

Гипертекст – это гипер-пространство для различных трансформаций. Я не меняюсь, я изменяю пространство вокруг себя. Неподдающаяся материя сопротивляется, цепляется за прутья своей клетки, выдвигая для борьбы со мной разных эмиссаров: злобных врагов, изматывающие болезни, предательства и прочие жизненные обстоятельства. Но потом, подчиняясь насилию, оно с тихим воем пускает меня в самую свою сердцевину и устало обволакивается вокруг, принимая формы моей души.

Попытаемся прояснить себе уникальную хореографию этих прыжков мысли. Ты, к примеру, не пишешь, ты просто вставляешь слова (любые) в форму, которая дана, извиняюсь, свыше.

Уж раз существует взаимосвязь между физиологическим ритмом и манерой писателя, то тем более существует она и между его обусловленным временем миром и его стилем. С чего бы писатель-классицист, живший в линейном и ограниченном времени, за пределы которого он никогда не выходил, стал бы писать отрывистым и негармоничным слогом? Он обращался со словами бережно, неотлучно жил в них. И эти слова отражали для него вечное настоящее, некое время совершенства, являвшееся его временем. А вот не укорененному во времени современному писателю приходится любить конвульсивный, эпилептический стиль.

Драматургия произвольна, события не шантажируют друг друга взаимной необходимостью. Он симулирует рассказывание. Мы скажем – поэзия, но в отличие от стихотворения, к прочтению которого можно вернуться на странице, время показа необратимо, и нет императива, заставляющего нас держать в памяти необходимую связь последующего и предыдущего.

Исполнено в манере морзянки. Строчки телеграфно-иссушены. В стиле бортового журнала, скрупулёзно записано всё как диагноз (скрыто много утончённых нюансов). Здесь каждое слово пережито глубоко, интимно; есть слова прямо кровоточащие. Пульс жизни в тончайшей струнке слова – и ещё с самой что ни на есть обычной, дико старомодной трогательностью, вплоть до слёз. У большинства других – что-нибудь одно. Художественные контрасты, их чисто лингвистическая перенасыщенность, воспринимаемая как перенасыщенность эмоциональная, по "густоте" письма, по образной плотности, по динамике фразы... Поэт чрезвычайно вещественен. А между тем он нуждается в гораздо более глубоком, и я бы даже сказал, медитативном прочтении, ибо это писатель, наделённый исключительно глубоким экзистенциальным опытом, который, в отличие от используемых им внешних литературных приёмов, никогда не станет достоянием большинства и никогда не утратит своей новизны.

Его читатель – это социально вписанный тип, добившийся в жизни досуга для чтения замысловатых текстов, ставящих под вопрос рациональные навыки и блаженный автоматизм, защищающий занятого человека в мире сложных технологий. Среди таких воображаемых читателей встречаются и скептически настроенные интеллектуалы с опытом отказа от общепринятого, для которых катарсическое находится вне языка коммуникаций, в невыразимом. Знаками невыразимого становятся и животные, прошедшие таинство приручения, и кто умеет следить за ними, забывает о логике и полагается на интуицию и подсознание; кошки ходят по границе знания и магии, и я часто встречал мнение, что библиофилы, архивисты и черно-книжники склонны быть айлюрофилами (любителями кошек).

Не случайно идея внутренне уравновешенной, сбалансированной личности зародилась не в корпоративной среде и не в обществе специалистов, а явилась плодом глубоко личных дружеских связей аристократии XVIII—XIX вв. с литераторами той эпохи.

– Да, если поискать, наверное, и ошибки найти можно... – Это такой художественный приём. Именно с его помощью можно передать то состояние, в котором героиня, не объясняя собственных чувств... – Чё? Да пошли они со своими приёмами! Я простой человек и хочу, чтоб всё понятно было. Мне ихняя сложность на хрен не нужна, ясно? – Есть несколько способов построения художественной реальности, здесь представлена как раз...

Выстраивая фантазийно спрессованный недокументальный путевой дневник как повод к игре, раздумьям, исследованию нравов и самоанализу, плывёт по волнам океана, огибая или не без приключений навещая острова неподдельного счастья... большого вна... голых женщин... пониженной гениальности... посланных на...

Есть такие, кто не насилует каждую строчку манией цивилизации или идеалом, всеобщим, политическим, экзистенциальным, не знаю, каким ещё. В общем, если люди гнусны, так нам и надо. Следовало уделять им больше внимания. Просветитель Фонвизин смеялся над Митрофанушкой, который не хотел учиться, а хотел жениться. Мы ушли от узкого рационализма, просветительского высокомерия, гипертрофии познавательной деятельности, репрессивности европейской культуры вообще и диктата разума в частности. От пренебрежительного отношения к вульгарности мы тоже ушли. Мы можем оценить точку зрения Митрофанушки как альтернативный жизненный проект.

Нет однозначных ответов, сплошные метафоры, к которым, естественно, рискованно задавать вопрос, надеясь на определённый отклик. Метафора живёт вне таких логических операций.

Рассеченное и брошенное, как игральный кубик, комбинированное и рекомбинированное, наше тело – база образов. Оно отчаянно нуждается в образах, чтобы узнать себя, измерить

себя, поверить себе, стимулировать внимание, питать каналы памяти, картографировать прекрасное, распознавать трещины в гравитации, отмечать возраст и зажигать взоры... Образ – это генетическая машина, рекомбинирующая, склеивающая, смешивающая, соединяющая.

Таким образом, можно украсть, а где похищение, там и кино. Оказалось, что где-то в моём поле ожидания обитают вакантные герои, которые только и ждут повода для взаимодействия и объединения в нехитрый сюжет. Сны, частная жизнь и эпос факта – только разные голоса, предшествующие выбору героя. И силы для решения собираются по крупницам. ...Первым делом она выделяла положительного героя (хотя, если вдуматься, понятие «отрицательный герой» также бессмысленно, как понятие «положительный минус»).

Скажем, мы пришли в кино и смотрим фильм с участием Бельмондо. На полтора часа, пока длится фильм, мы как бы забыли себя, мы живем жизнью героя Бельмондо, мы чувствуем себя удачливыми, мы переполнены чувством юмора, нам все удается и т.д. И такого рода тренаж не проходит даром. Когда мы выходим из кинотеатра, то наше поведение хоть немного, хоть ненадолго, но изменяется. В этом и состоит воспитательная функция искусства.

Сэндел утверждает, что субъект не может описываться независимо от конкретных жизненных целей и ценностных ориентаций, которые оказывают на него конституирующее воздействие. Он всегда «ситуирован», причем самым радикальным образом, а потому проблемой является не удаленность субъекта от целей, желаний и склонностей, а его нагруженность этими целями, желаниями и склонностями. Следовательно, нужно разобраться в пределах самости, отличить субъект от ситуации и тем самым сформировать его идентичность.

В "Скрытой магии", между прочим, сказано: «Почему нас смущает, что Дон Кихот становится читателем "Дон Кихота", а Гамлет – зрителем "Гамлета"? Кажется, я отыскал причину: подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели и зрители, тоже, возможно, вымышлены». Не следует забывать и о напористости зрительного восприятия, которое даже в рекламе маргарина чует сексизм.

Например, распространенное среди критиков представление, что детали произведения должны быть подобны деталям чьей-то жизни, душа персонажа – душе автора и т.п. – это вполне определенная идеология. Скажем, психоанализ представляет себе отношения между произведением и автором прямо противоположным образом, а именно как взаимоотрицание.

«Кто мы такие, кем является каждый из нас, если не комбинацией опыта, информации, чтения и вымысла? Каждая жизнь – это энциклопедия, библиотека, реестр предметов, совокупность игр, которые непрерывно перемешиваются и упорядочиваются в произвольных комбинациях». И в самом деле, читатели всё заплотнили. Точнее – некий Читатель и некая Читательница. Прочитанное и пережитое настолько перепутывается, что отделить одно от другого уже невозможно.

Сюжет? Сюжет – это когда все истекает. А у нас все течет и течет.

Персонажей без сомнения презренных, либо смесь мрачного упрямства и коварства тех жизней, чьё остервенение мы ощущаем под гладкими, как камни, словами. Когда мне случается встретить эти ничтожные жизни, превратившиеся в прах в тех самых нескольких фразах, что их и сокрушили. Ибо скоротечность повествования и густота событий, о которых идёт речь в этих текстах...

Да любое сказанное сегодня слово – свое ли? И наоборот – а что, если гениально, абсолютно точных словесных носителей-выразителей ума холодных наблюдений и сердца горестных замет в гениально точных словесных формулах накопилось уже столько, что их достает на все возможные состояния ума и сердца, что комбинацией чужих слов куда точнее, чем своим доморощенным словом, можно и нужно выразить самое что ни на есть свое-пресвое чувство или мысль? Это уже не чужие слова, это уже терминология, которую можно и должно использовать, тем более, что художественная терминология, подвижная и податливая, позволяет играть

ею как хочешь. Может такое быть? А почему нет. Еще как может. Что, если своя душа избыточна, а свои слова – избыточны? Если мы в блокаде чужих слов, куда как лучше выражающих нашу душу, чем наши собственные? Что, если человек, подошедший к себе вплотную, увидел – все его чувства уже описаны, мысли изречены, и лучше всего выразить себя, орудуя чужим, но комбинируя его по-своему? Как в шахматах – ну нет, нет никакого начала, кроме чужих дебютов, никакой защиты, кроме защиты Филидора или староиндийской защиты. И свое – это только по-своему разыгранная чужая защита, по-своему интерпретированное чужое. И нет ничего нового под солнцем.

Но потом я убедил себя, что это ложь. Я задал себе очень много вопросов "зачем" и "почему" (любимый метод метафизических разборок). И я знаю, что оно бессмысленно (а осмысленно, как несложно догадаться лишь то, что ведёт к неСмерти и/или Смыслу). Я решил, что раз его можно уничтожить, то, значит, жить можно и без него, а раз жить можно и без него, то честно жить без него. И это невероятно, но я уничтожил в себе вдохновение. Жить от вдохновения к вдохновению легко и просто. Уничтожив его, я получил много больше скуки в жизни, но стал ближе к тому, что это такое.

Возникает вопрос: зачем это нам? Художник спокойно объясняет: "Для знания. Вы ведь знаете дату своего дня рождения, номер дома, банковского счета. Как не знать?" Логика непобедима, но и невыразима по-настоящему, она содержит свой внутренний закон, на который и полагается творец и художник. А где знание, там управление и власть. Для смерти нужно столько же образования, что и для жизни.

Существование канонического корпуса текстов – т.е. элиотовский принцип «objective correlative», согласно которому «существующие памятники искусства находятся по отношению друг к другу в некоем идеальном порядке, который видоизменяется с появлением нового <...> произведения» – ставит человека пишущего в ситуацию не только двусмысленную, но едва ли не безнадежную. Можно развить до известных пределов эрудицию, что позволит не только достигнуть известной изощренности в комбинаторике, но и забыть на время о самом существовании канона. Но высокой сложности (как и всему на свете – неслышанной простоте, прекрасной ясности и прекрасной же эпохе) рано или поздно приходит конец. Просто потому, что число единиц смысла может быть чрезвычайно велико, но не беспредельно. Количество жизнестойких комбинаций, следовательно, и того меньше. Рано или поздно всё это оборачивается неподдающейся излечению литературной маструбацией, сиречь – скукой. В башке начинает царапаться гаденький, анекдотический вопросец: «А зачем?» Магистр игры в бисер вдруг осознает себя в положении человека, жонглирующего железобетонными блоками. Можно сделать все, но нельзя сказать всего. Здесь мы читаем: "Прохожий. Рано или поздно – сам понимаешь... Так что – сам понимаешь..."

Но что гадать и преумножать сущности сверх необходимого. Выше себя не прыгнешь. Насади себя на крепкую логическую ось – хоть ненадолго навались из всех сил на рычаг – и, как древний раб, ворочай жернова силлогизмов... Слова устают и изнашиваются, как устают и изнашиваются люди. При случае может понадобится замена. «Жизнь изгаживает», – замечал Анри де Ренье; нет, жизнь прежде всего изнашивает: безусловно, есть люди, которым удаётся сохранить в себе неизгаженное ядрышко, ядрышко бытия; но что значит этот жалкий осадок по сравнению с изношенностью тела.

Мой отец был задумчивым и властным, скромным и решительным, трезвым и недоверчивым, одиноким и надменным, загадочным. Он любил играть в шахматы. Скрытность, теперь я в этом уверен, была присуща его натуре, позволяла свободно мыслить и жить по-своему.

У него была еще одна особенность, необычная для человека, не считавшегося так называемым интеллектуалом. Отец до странности бережно, почти суеверно, относился к слову, даже разговорному, обиходному. Он сам тщательно подбирал слова, взвешивал каждое, будто обдумывал шахматный ход, и требовал того же от нас. Иногда неосторожное слово (самое обыч-

ное, общепринятое) внезапно приводило отца в холодную, пугающую ярость (какое именно и почему, предугадать было невозможно); казалось, в его душе заделали незажившую рану и он взвизвал от обжигающей боли. Сгусток тайн, отголосок далекой бури. След, оставленный прошлыми потрясениями, не поддающийся истолкованию. Отец прерывал наш бездумный треп: «Не болтайте попусту! Сами не заметите, как потеряете себя».

У людей мало слов для того, чтоб они могли понимать друг друга. У них нет форм для выражения чувств. Слова, имеющиеся в их распоряжении, слишком изношены и бледны. Они мало говорят. Они ничего не рисуют. Ах, это большое несчастье, что сначала развиваются чувства, а потом уже язык. Мы остаёмся позади языка с нашими чувствами, мы не можем выговорить себя, и вот почему никто никого не понимает. Нам нужны новые слова, много слов; нам всегда нужно бы иметь в запасе несколько лишних слов, ибо часто чувства мимолетны, моментальны и нам нечем оформить их. Ах, во многом ещё мы нищие и вот почему так часто грабим друг друга.

Мода никогда не современна. Она играет на повторяемости однажды найденных, а затем умерших форм, сохраняя их в виде знаков в некоем вневременном заповеднике. Мода из года в год с величайшей комбинаторной свободой фабрикует «уже бывшее». Мода всегда пользуется стилем «ретро», но всегда ценой отмены прошлого как такового: формы умирают и воскресают в виде призраков. Это и есть ее специфическая актуальность – не показательная отсылка к настоящему, актуальному времени или событию. Мода – это тотальная и моментальная реутилизация прошлого. В ней всегда предполагается замирание форм, которые как бы абстрагируются и становятся вневременными эффективными знаками. А эти знаки в силу какой-то искривленности времени могут снова появиться в настоящем времени, заражая его своей несвоевременностью, чарами призрачного возврата.

– Мне кажется, что из этого трудно сделать роман.

– Почему?

– Роман – это движение чувств, говоря в самых общих выражениях. А здесь его нет. Есть только одна мысль, не очень новая, как ты знаешь, и лишенная эмоциональной окраски, без которой роман может показаться неубедительным.

Техника наивна, композиция ошибочна и банальна, декадентская эстетика минувшего столетия с некоторой невоздержанностью языка, извиняемая, впрочем, пожалуй, молодостью лет.

Я не считаю себя обязанным читать газеты и я едва-едва успеваю оглянуться на то, что делается вокруг меня. Как хорошо жить где-нибудь в Париже или Лондоне, – там, говорят, выходит до шестидесяти газет в день... Эти города прекрасны, там всюду идут часы. Тогда как мы "и не восточный, и не западный народ", а просто ерунда, – ерунда с искусством. Я не чувствую себя в силах читать претенциозный и газетно-актуальный, где автор и герои говорят так, как никто не говорит и не думает в жизни, – какие-то рваные и в то же время напыщенные сложносочинённые с эллипсисами и через запятую, не могу, и якобы в духе времени, и все с оглядкой на чужое восприятие, нет сил, и обязательно баба, и обязательно крысы, можно подумать, Грина не было, чего ты добиваешься, вали всё в кучу, сверхъязык симулякров, низведение текстов искусства к протоколам, испытывая гадамеровские муки нехватки языка – не такие ли муки испытывает интерпретатор живописи и поэзии, мировоззрения и веры? Не что иное, как алогичное нагромождение логически связанных элементов. Сам Стриндберг говорил о своей пьесе как о попытке подражания обрывочным, но обязательно логически связанным грезам.

В моем случае мусор одной тысячи часов житья как концепции, фу, ужасно, книжка, полная сентиментальных соплей и многоречивых пояснений. Сравнения неорганичны, ходы ходульны, сил нет, могу начать с любого слова, могу так километрами. Не стесняйтесь. Нас стесняться не нужно – мы тоже так умеем.

Попытался было почитать. Ну и стиль. О самых простых вещах говорится таким туманным слогом, с такой головокружительной претенциозностью и манерностью, что кажется, еще немного – и тебя стошнит. Сам по себе автор и умен, и тонок, и отнюдь не пуст, но вызывает при этом несказанное отвращение. Недостаток их (текстов) тот, что они никак не могут быть приспособлены к улучшению и изменению жизни людей в настоящем. Но ещё печальнее разрушать что-либо, ничего не предлагая взамен. Продукт тупиковой психологии.

Глава 6. Постмодернистский метод

Концепция принимает во внимание примитивный смысл жизни, изменяя привычную реальность. Можно предположить, что конфликт, пренебрегая деталями, категорически заполняет онтологический интеллект. Философия раскладывает на элементы принцип восприятия. Созерцание оспособляет постмодернизм. Любовь – это мир, исходя из принятого мнения. Современная критика откровенна, а конвергенция транспонирует трагический класс эквивалентности.

Избегая, однако, усложненных интерпретаций, вынужден начать с утверждения, что в представленном на наш суд тексте молодого (юного, зрелого, пожилого, престарелого, дряхлого) прозаика (поэта, драматурга, эссеиста, фельетониста, пародиста) удачно осуществлена псевдоформообразующая деконструкция универсума, при всей своей эксплозивности тщасящаяся укротить стихию дискурса, причем, задев по касательной инфраструктуру ментальности, заставляя сочиться лимфой кровеносные сосудики смыслов. Что, попросту говоря, означает бытийное сгущение, порождающее эманацию будущей, возможно дегуманизированной, но неизбежной реконструкции станового хребта категорий, пусть уже отмеченных эрозией релятивизма. Однако, тот факт, что автор манкирует облигативными ингредиентами полупсевдодеконструированной квазиреальности, подчас склоняет его (ее) к интенции педалировать перцептивный локус трансцендентный зримому в ущерб архетипическим инвариантам. Как результат – вибрирующий в пазухах текста диахронический алогизм оказывается подвешенным между мерцающей в его (разумеется, текста) безднах постепенно дегенерирующей эпистемой и недостаточно артикулированной экзистенцией, в силу своей ущербности регрессирующей к пралогизму. Данная неизбежно интуитивная реверберация не может не привести к умножению интегральных симулякров. Тем не менее отдадим должное автору, что он (она) неколебимо пребывает в ментальном пространстве своей амбивалентной толерантности, что утверждает его (ее) текст в качестве едва ли возможного варианта иррационального картезианства. Спонтанная модуляция коннотативного подтекста контаминирует псевдоэмпирическую асистемность с обертонами, не побоюсь сказать, семиотического императива. И все же вынужден констатировать, что инфернальность харизматизированного суперэго автора неконгруэнтна поливалентности "онтологических контрапунктов".

Об индивидуации Другого в партиципации Многоликого Я при редуцировании диалога (предварительная экспликация). Инновационность симулякра ноэсису и ноэме проявляется в его изоморфности парадигме когнитивного резонанса интеллигибельного дискурса при диалого-образовательной дилемме альтернативного субъект-объектного трансцендентального горизонта системного анализа языковых ингредиентов комплексного конструкта инаковой псевдоидентичности бисексуального аутизма информационно-коммуникативного слогана интернетовского сайта, запрограммированного на аномию принципа антропности, проявляющегося в лабиринте бифуркационного алогизма социоматрицы прибавочной регрессии, медитирующей в поле свободных ассоциаций постмодернизма посредством сгущения символического интеракционизма синергетики, предпринятой как в майевтике социальной дистанцированности иронической солидарности Ричарда Рорти, при одной эксклюзивной экспликации холизма, так и при девиантном откровении нарциссистской мыследеятельности Жоржа Батая, направленной на аннигиляцию семиотического фаллибилизма юнгианского архетипа

грамматологического диалога Жака Дерриды, подкреплённого антилакановской геннокультурной эволюцией гендера, герметически локализованного (но не в жизненном порыве тезиса Дюэма-Куайна, а в онтической партиципации солипсической проблематизации провиденциализма, фальсифицированной гипостазированием диспозитива Другого в фоноцентрической харизме Мамардашвили) нарративным редукционизмом Райхо-Скиннеровской коннотации плюрализма абсурда, выраженного в концепции культурного отставания и вследствие дурной бесконечности каузальной логистики интересубъективности Ральфа Дарендорфа, исключаяющей верифицируемость Ничто благодаря опосредуемости интровертированного инцеста в его экзистенциальной симультантности, диспозитивуемой технофобией до репрезентативной фикции.

Это, пожалуй, единственный недостаток. Остальное все по кайфу. Рекомендуются широкому читателю.

Дурное владение языком – и случайный, неконтролируемый порыв – вот что привносит в текст (понимаемый широко) элемент свежести. Это явление, совершенно чуждое, и даже враждебное профессионализму. Это типичный случай неотчетливости мышления, приводящей к смешению всего со всем. Та "широко понимаемая свежесть", которая уравнивает графомана с хорошим писателем, относится к сфере восприятия. На любой текст найдется такой читатель, которому этот текст покажется мировым шедевром. Такой подход уводит даже не к рецептивной эстетике Яусса, а напрямик к социологии чтения. И в этом нет ничего страшного, если его не абсолютизировать. А чтобы не абсолютизировать – надо понимать, что при определенном взгляде на вещи качество текста вообще безразлично: соответствующим образом подготовленный и настроенный читатель будет ловить кайф от любого текста, "вчитывая" в него произвольный набор интерпретаций и ассоциаций. Это очень здорово, но в разговоре о литературе приходится этот вариант вынести за скобки (альтернатива – констатировать "конец литературы", собственно "конец искусства", и заняться другими делами, оставив мертвым хоронить своих мертвецов; этого г-жа Фридман не делает, предпочитая инвективы).

Надежду нужно искать в другом: в возможности структурировать безумный поток информации. Я сам всегда терпеть не мог этого посредственного, манерного псевдопоэта, неуклюже подражавшего Джойсу, но лишённого даже того напора, который у полоумного ирландца иногда позволяет продраяться через словесные завалы. Постмодерн шаманит, как Кашпировский, призывая этот поток на наши головы, заклиная его смести все на своем пути. Это вовсе не суицидальные устремления: вульгарному постмодернизму наплевать на культуру. Поэтому никакого «постмодерна» как особой реальности нет и не может быть, а пресловутые постмодернисты реальны не более, чем зелёные человечки.

Как бы не замечая всей комичности процедуры разделения философов на "чтойников", "ктойников" и "какистов" наш постмодернист взмахнул своей дирижерской палочкой и весь этот многоголосый "философский" хор запел: "чтойники" – "зачтокали", "ктойники" – "зактокали"; какую "онтологическую процедуру" были вынуждены исполнить "какисты" – догадывайтесь сами.

Платону кажется очевидным, что поэты толкуют о предметах, в которых сами не сведущи. В «Ионе» точно так же отрицается общепринятая точка зрения, что поэты являются мудрецами и наставниками людей. Платон сравнивает магический дар поэтов с лишённой разума силой магнита. Они создают свои прекрасные поэмы не благодаря умению, а в состоянии вдохновения и одержимости. Происходит это не по умению, а по божественному наитию. Поэты поистине не ведают, что творят. Обычно такой материал накапливается в записных книжках писателя.

Какое бы отвращение ни внушала сама личность Андре Бретона, каким бы дурацким ни было название – жалкий оксюморон, свидетельствовавший, во-первых, о лёгком размягчении мозга, а во-вторых, о рекламном чутье, которым отличался сюрреализм и к которому он в

конечном счёте и сводился, – факт остаётся фактом: в данном случае этот кретин написал очень красивые стихи. Однако я был не единственным, кто отнёсся к акции без особого восторга: через два дня, проходя мимо той же афиши, я увидел, что на ней красуется граффити: «Чем грузить нас вашей гребаной поэзией, лучше бы пустили побольше поездов в часы пик!».

По-своему даже красиво... подчеркиваю: по-своему... Между тем автору, кто бы он(а) ни был(а), просто необходимо побыть одному! Он заржавел от буковок, которые помнит наизусть, знает назубок – да они об него – с уже как об стенку горох, как с гуся вода, как рыба об лёд!

В сущности, он восхитительно точен, нужно только нырнуть в него и принудить себя открыть глаза в его прозрачных глубинах, под сумбурной поверхностью. В нем нет ни одной пропущенной строки, ни одного гадательного прочтения.

Он всегда стремился быть искренним и, даже если грустно, веселым. И если в его текстах много обращений, то это не концептуальный прием, а дружеское подмигивание. Способ передать привет. Сделать человеку приятное. "Нотации" составлены из речевого мусора, как прежние его книги были составлены из перепевов и цитат. Конечно, для дебютной книжки было бы провалом. Одни только перебродские интонации заклеямили бы как слабое подражание, закрыв этот файл навечно. Неточные рифмы и ритмические сбои, сплошное "хуе-мае", типа, можно и не стараться: результат все равно будет один. Один и тот же. Никакой. Время такое. Никакое.

Ему меня научили старшие товарищи. Принцип называется "чтобы что". Пользоваться им просто. Как только вы хотите что-либо сделать, задайте себе вопрос: "Я это делаю, чтобы что?". Я гарантирую, что в половине случаев окажется – либо действие не имеет смысла, либо это можно сделать лучше.

Сумма знаний меня не устраивает. Я не призываю к замене государства библиотекой или кушеткой психоаналитика – хотя мысль эта неоднократно меня посещала. Не философия выражает бытие народа, а народ выражает философское Бытие, если такой счастливый великий миг (по историческим масштабам – эпоха) ему удаётся. Чтобы было более понятно, то я скажу, что будь моя воля, то я бы тратил на философское образование не меньше, чем на оборону. Я бы посадил всех зеков в одиночки и заставлял бы их прочитывать по 50 философских первоисточников в год, а весь стабилизационный фонд пустил бы на переводы и издания философских книг, которые бы продавались в каждом ларьке как водка. И так далее. Что бы это дало? Не знаю, что в социальном, экономическом и политическом плане, но знаю, что это усилие дало бы, возможно, несколько великих философов через сколько-то лет, а эти философы изменили бы облик и Земли, и истории, создали бы мир, в котором, может, уже бы и не было места ни социальному, ни экономике, ни политике. И такой подвиг, такой поворот – это лучшее, что может случиться в судьбе народа. Раз уж все народы смертны, то смерть со славой лучше, чем смерть от обжорства гамбургерами, тем более что даже это нам не грозит, скорее уж – издыхание от голода, холода, трудов, военных тягот, мягкого и жёсткого геноцида, ассимиляции другими пассионариями.

Современная философия принуждена быть литературой, чтобы расплавить, растопить ту кору понятий и концептов, которые образовались в ней за две с половиной тысячи лет. Эта остывшая лава давит и раздавливает всё, что есть живого в философии. История философии губит философию. Философии нужно лишиться себя двойной непрозрачности, скинуть с себя шкуру метафизики и дотронуться до человека, прикоснуться к нему, задеть его. Философия должна радовать и печалить, веселить и огорчать. Её тексты не должны быть громоздкими, их надо делать компактными, обозримыми. В них должен доминировать естественный язык, а не терминологические отходы философской работы многих поколений.

Как поясняют рецензии на последней странице обложки – «редкий образец подлинно политической постмодернистской художественной литературы»; «автору в нем удалось невозможное – он выглядит одновременно любезным и разъяренным». Разъярен он в первой части,

с несколько прямолинейным пылом клеймя неолиберальную тэтчеровскую Англию 1980-х, где интересы большинства приносятся в жертву прибылям немногих.

Я хочу сказать, что они выбирали фразы приблизительно из одного и того же культурного слоя, лингвистического бассейна, известного или ожидаемого ими почти в равной мере, согласно накопленному опыту. Корпус чтения отражается на маневренности внутреннего поискового напряжения, равно как и на формировании внешности читателя, потому что все наши лицевые мышцы, которых около тридцати, незаметным для нас образом передают эмоциональные реакции от встречи с текстом.

Иногда говорят, что художник создает лишь половину произведения, другую половину создает зритель, интерпретируя произведение. В таком суждении много подкупающего – прежде всего представление о творчестве как о диалоге. Однако следующий вопрос звучит так: что есть диалог – составление в одно целое двух фрагментов или столкновение законченных суждений?

И потом, вашим персонажам не хватает выпуклости... Как бы это сказать? Жизни. Это вездесущие манекены. Мы ничего о них не знаем и вы не побуждаете нас к тому, чтобы узнать о них что-то. Нужен тот, который хотел бы погулять, пройтись по тихим зелёным аллеям, всласть пообщаться... Если это означает, что мы должны говорить сами с собой, тем лучше: не для нас, но, возможно, для литературы. Это относится и к монологам, ибо монолог есть спор с самим собой; возьмите, к примеру, «Быть или не быть...» В конечном счёте явно не к диалогу стремление, а как раз наоборот, хотя бы потому, что сами по себе два голоса немного значат. Сливаясь, они приводят в движение нечто, что, за неимением лучшего слова, можно назвать просто «жизнью». Вот почему всё кончается тире, а не точкой.

Писал также, что любая дискуссия приводит его в угнетенное состояние, что истина для него рождается отнюдь не в споре, ибо он любит говорить обо всем в утвердительной манере, не любит ни сам выстраивать доводы в стройную систему, ни выслушивать доводы других. "Я создан для того, чтобы произносить резкие монологи". Как-то раз, вычитывая гранки одного из своих произведений, он отметил для себя, что мысли там выражены неотчетливо. "Ясность мысли, увы, не мой случай. Я всегда был немного путаником". Ну да это уже опять скорее не о концепциях, а об особенностях характера.

Расплывчатость и шаткость терминологии, пренебрежительное отношение к системному философскому строительству при наличности иногда искусных диалектических построений отдельных доказательств, неумышленное, но упорное стремление воздействовать на эстетическую внушаемость читателя, подмена решающего аргумента ярким образом, сравнением или ложной аналогией – вот обычные дефекты скептика-мистика. Излагая систему, следуйте системе.

Так надо писать, чтобы человек, каков бы он ни был, вставал со страниц рассказа о нем с тою силой физической осязаемости его бытия, с тою убедительностью его полуфантастической реальности, с какою вижу и ощущаю его я. Вот в чем дело для меня, вот в чем тайна дела...

Еще он меня повоспитывал на тему того как я поверхностно его понимаю, как его внутренний мир непознаваем и сам он неуловим. – Я хочу подарить вам свою маленькую книжку – вот. Чтобы понять меня, нужно ее прочитать.

Мы видели, что искусство и философия одинаково демонстрируют ретроактивное воздействие предела: художник сразу схватывает и изображает необычную оригинальность обыденности, не дожидаясь, как другие люди, пока настоящее станет прошлым, чтобы лишь ретроспективно оценить его безвозвратное очарование; философия, в свою очередь, заставляет почувствовать странность жизни, не дожидаясь смерти, которая во всех аспектах раскроет эту странность, но потом, когда уже будет слишком поздно. Именно об этом, может быть, хотел сказать Сенека, когда предлагал нам считать каждый час нашей жизни как бы последним.

...Работает в манере, которая трудна для обсуждения. Не существует очевидных причин утверждать, что одно сочетание слов способно быть лучше другого; что оно может выступить ярким и убедительным доказательством того, что человеческая жизнь полна не только жесточайшего внутреннего трагизма, но и радости надежды как единственного нашего реального достояния. К сожалению ли, к счастью, этот вопрос не решается на логическом уровне и всегда остается в интуитивной области вкуса. Его проза – это игра именно на языковом поле. Правила её таковы, что при случае автор может чувствовать себя свободным от необходимости точно отображать действительность. Его аргументы, предъявляемые в споре со стихией обыденности, лежат в области недоказуемого.

Изъян этой схемы заключается в заведомом отсутствии динамики. Она имеет два измерения – длину и ширину, но не имеет третьего – глубины. Да-нетная философия. Критику (крытику) будто и в голову не приходит, что один и тот же образ может обладать различной семантикой, что предметом анализа (как и предметом творчества) может быть именно динамика образов внутри поэмы, соотношение меняющихся смыслов, а не поиск некоего монументального вывода. Да и кто вообще, чёрт побери, сказал, что текст должен обладать одним-единственным, раз и навсегда заданным смыслом? Средневековые интерпретаторы были не правы, воспринимая мир как однозначный текст; современные интерпретаторы не правы, подходя к тексту как бесконечному миру.

Кстати говоря, зачастую намеренно придаваемый произведениям последнего характер «коллажа» (или даже сознательного, демонстративного плагиата) связаны вовсе не с производом и капризной прихотью авторов, а как раз с интуитивно ощущаемой ими огромной информационной емкостью объектов, с которыми все чаще и чаще имеет дело современный человек и которые ведь, например, уже на уровне квантовых микрочастиц также могут «вести» себя одновременно и как волны, и как корпускулы. (Корпускула отличается от волны тем, что отбрасывает резкую тень.) Пространство – это остановившееся время. Но где же начало однонаправленного времени, если это вместилище всего? Два наблюдателя, живущих друг относительно друга, на краткое время, а не в долготу дней. Время перестает дёргаться. Благодаря памяти гибель оборачивается гибельностью.

Постмодернизм в русской литературе успел утратить эффект новизны, но для многих он по-прежнему остается достаточно странным незнакомцем. Язык его непонятен, эстетические вкусы раздражают... В постмодернизме действительно немало необычного, шокирующего, даже "шизоидного" – и он же эрудит, полиглот, отчасти философ и культуролог. Особые приметы: лишен традиционного "я" – его "я" множественно, безлично, неопределенно, нестабильно, выявляет себя посредством комбинирования цитации; обожает состояние творящего хаоса, опьяняется процессом чистого становления; закодирован, даже дважды; соединяет в себе несоединимое, элитарен и эгалитарен одновременно; тянется к маргинальному, любит бродить "по краям"; стирает грань между самостоятельными сферами духовной культуры, деиерхизирует иерархии, размягчает оппозиции; дистанцируется от всего линейного, однозначного; всегда находит возможность ускользнуть от любой формы тотальности; релятивист; всем видам производства предпочитает производство желания, удовольствие, игру; никому не навязывается, скорее способен увлечь, соблазнить. Характер: независимый, скептический, иронический, втайне сентиментальный, толерантный; при всем том основательно закомплексован, стремится избавиться от комплексов. Любимые занятия: путешествия (в пространстве культуры), игра (с культурными знаками, кодами и т.д.), конструирование/переконструирование (интеллектуальная комбинаторика), моделирование (возможных миров). Убеждён, что никакая художественная позиция в конечном счете не может занять господствующего положения в сопоставлении с другой позицией; сами правила создаются вместе с произведением, в результате чего каждое произведение становится событием.

Постмодернизм – это метод, не обещающий достижения цели; это вопрос, ответ на который был бы смертелен; это праздник Апокалипсиса, который всегда с тобой; это способ остаться живым, когда Истина невыносима. Постмодернизм – это поиск спасения в ситуации, когда уже не осталось ни веры, ни надежды, когда отнята благодать. Постмодернизм – это спонтанное самопожертвование философии; это распятие современной культуры и ее сошествие в ад. Это сверх-апофатика, когда даже не произносится слово "Бог". А симулякры – это призраки, духи, бесы, с которыми ведется невидимая брань. Их нужно распознать и разоблачить их претензии на подлинность, чтобы не принять небытие за бытие. Постмодернизм более внимателен к нюансу, который может оказаться великим; к частностям, в которых скрывается чудо; к отражениям, в которых есть частица Фаворского Света; к мельчайшим движениям души, которые определяют последний выбор. Постмодернизм – это вслушивание в бессмысленное бормотание пустоты; это молчаливый вопль несчастного сознания; это плач и скрежет зубовой; это вопрошание о смысле абсурда; это зов в пустоту, в которой никого нет; это молчание в непрекращающейся беседе с ничто. Когда невозможно говорить, остаются два пути: быть исихастом или постмодернистом. Простой на первый взгляд, исихазм также непонятен, загадочен и непостижим, как и постмодернизм. Исихазм зовет туда, где невозможно находиться; передает опыт, который невозможно взять.

Ложь, изреченная постмодернизмом, есть мысль. Именно постмодернист может полусуто проговорить то, на что не решаются "серьезные" философы. Он способен случайно проболтать Великий Секрет. Небо невозможно взять штурмом, как это пыталась сделать классическая философия; многовековая осада крепости Логоса оказалась бесполезной. Теперь ясно, что Истину невозможно купить; заключить договор можно только с преисподней. Никакие моральные заслуги не являются гарантией спасения. Знание только подводит человека к последней черте, разум в бессилии останавливается перед Тайной.

Постмодернизм – это вызывающий жест в сторону Неба; это отказ от гарантий с верою в любовь; это дерзость, доходящая до смирения; это добро, притворяющееся злом; это агнец в волчьей шкуре; это громкой смех, скрывающий рыдания; это цинизм, маскирующий скромность; это оскорбление святынь с тайным желанием, что кто-нибудь их защитит; это провокация, попытка выманить божество из его укрытия; это предательство Бога с верой, что не найдется палачей; это преступление в надежде на наказание и на то, что грозный Судия явит себя.

Постмодернист по-детски наивно играет с Небом; по-женски кокетливо заигрывает с Богом. Истина открывается только в непостижимом. Чудо случается только неожиданно. Событие свершается только если сделать нечто невозможное. Поэтому постмодернист как влюбленный – забывает себя; как пьяница – с горя упивается до беспамятства; как нищий – радуется медному грошу; как скряга – собирает всякий сор; как транжира – проматывает наследство за одну ночь; как проститутка в ожидании настоящей любви – готов пойти за любым, кто позовет; как мошенник – у которого есть только один шанс обмануть; как вор – хочет украсть бесценное сокровище; как преступник – дерзает совершить непоправимое; как самоубийца – режет себя бритвой; как безумный – бросается в пропасть.

Постмодернизм – это философия, презиращая всякую философию; это безудержность интерпретаций, в надежде исчерпать их до конца.

Постмодернизм – это бестолковая суэта в ожидании Гостя, в предчувствии Встречи. Это попытка устроить скандал в доме, где нет никого в живых. Это карнавальные похороны человека ветхого, это мучительные схватки перед родами человека нового. Это шутовская свадьба в преддверии великой Свадьбы. А Жених уже при дверях. Всего лишь несколько тысяч миль, да несколько веков отделяют нас от его сватов.

Постмодернизм неуловим, потому что он демонстративно нагладен, скользит по поверхности, ослепляет фейерверком смыслов, обманывает бесконечными отражениями и мира-

жами. Постмодернизм как сновидение намекает, напоминает о том, в чем мы не признаемся себе; как галлюцинация врывается в сознание и взрывает его изнутри.

Р. Барт, как известно, считавший себя левым, выступал против власти как таковой – не политической, а той, что «гнездится в наитончайших механизмах социального обмена», и чьим обязательным выражением является язык. «Язык – это средство классификации, а классификация есть способ подавления». Язык, пишет Барт, это фашист, ибо он приказывает говорить так, а не иначе. Выход? «Плутовать с языком, дурачить язык». Это и есть литература.

Не революция разрушает культуру, а отсутствие революции. Выбирать надо между защитой старого общества, несовместимого с культурной традицией, и защитой культурной традиции, несовместимой со старым обществом. Иначе – если не красить белый столб, он станет черным.

Обратимся к классике, к «Похвале Елене» Горгия. Слово, будучи звуком, наделено даром давать существование тому, чего нет. Звук «самое незаметное из тел» – это и самое демиургическое начало в дискурсе, то, что воистину обладает эффектом, действенностью, умением создавать вымысел, фикцию, его функция – освободить от настоящего, давая вместо себя существование объекту желания. Горгиева «Похвала» помогает понять, что *logos* не есть нечто, обязанное означать *physis*, и что слова не должны выражать в первую очередь внутренний мир высказывающего субъекта, софистика – не род психологии, секрет этого снадобья связан с удовольствием от речи, с удовольствием говорить. С точки зрения современной риторики софистика эксплуатирует имманентно присущее слову свойство: его коммуникативную природу. Чем подробнее мы рассматриваем слово, тем детальнее оно нам открывается – этот опыт давно известен профессиональным лингвистам, однако оставался чуждым интересам официальных «пользователей» политического языка. Иначе остается непонятно, как они могут надеяться и, соответственно, в свое время могли надеяться, что слова сами будут подсказывать свои значения, словно слово само заботится по-разному передать свое значение в зависимости от принадлежности к партии и, соответственно, идеологии «пользователя» политического языка. Это отнюдь не лингвистическая неожиданность.

Многим кажется, что главное в постмодерне – отход от стандарта жесткой рациональности, что нужно только как следует вымешать коктейль и сдобрить его солидной дозой экзотики. Стоит, мол, не мудрствуя лукаво, скрестить либидо и экономику, цифровой метод и кинизм, подбавить толику Водолея и Апокалипсиса, как постмодерный хит готов. Но эта мешанина из всякой всячины порождает только безразличие, а этот псевдо-постмодерн не имеет с постмодерном ничего общего.

Глава 7. Нить

Я знаю, в каком смысле вы употребили слово "полотно", но мне бы хотелось за это полотно ухватиться и переосмыслить: «ткань». Как известно, слово "текст" однокоренное со словом "текстиль", оба от латинского глагола "texere" – "ткать". Все мы в каком-то смысле ткём текст нашей жизни. А у латышей существовало до недавнего времени узелковое письмо. И песни, и сказки, и важнейшие домашние даты-события наносились на нитку и сматывались постепенно в клубок. Так создавалась книга. Вот она – паутинка прялки, прядущей нить судьбы и одновременно, попутно – канву литературы.

Вдумаемся в характеристику субъекта, произносящего ключевые слова: "не судьба". Или: "знать, не судьба". Можно сказать, "от судьбы не уйдешь" – дело, однако, в том, что крайне трудно хотя бы дойти до судьбы. Допустим даже, что мойры и в самом деле прядут нити судьбы – но при этом они дремлют под жужжанье своего веретена. В дреме, в полусне возникает некая последовательность происходящего, но в ней нет еще никакой персональной истории. Только натяжение и разрыв нити пробуждают прядильщицу, заставляя завязать узелок, узелок на память. Отталкиваясь от числа узелков, можно, пожалуй, составить и шкалу с градациями

постепенных переходов: карма, фатум, рок, судьба – а дальше слишком резкий обрыв, когда цепкие пальцы прядильщицы не дотянулись и не смогли связать концы с концами. Тогда перед нами случай номада, покидающего орбиту предопределенности на третьей номадической скорости. В этом случае единство имени не сохраняется – но только не еще, а уже. Господин, человек судьбы, не ведает страха перед наказанием, в частности все юридические аргументы для него суть кимвал бряцающий. Персонифицированный Закон, обращаясь к нему, восклицает: "Понял ли ты свою вину, понял ли, что преступил и на кого руку поднял?". Герой, отвечая скорее самому себе, говорит: "непруха", "несудьба". Он произносит этот не подлежащий пересмотру приговор запекшимися губами, из последних сил (попытки деяния исчерпаны) – и не стремится себя сохранить, не вступает в торги. Спекулятивная рефлексия чужда замахнувшемуся на судьбу и потому удостоившемуся ее.

Он всегда словно бы видел все нити и следил за их переплетениями, никогда не упуская из виду и общий дизайн своей гигантской шпалеры. Он оставил нам свою ткань невытканной. "И, наколовшись об шитьё с невынутой иглой..." он ткал смысл, переплетая нити дозволенного и недозволенного, – и его взгляд на современность был так же нелинеен, как и сама современность. Размышляя, он вставал то на сторону «общего», то вновь возвращался на свою «родную» позицию индивидуума. Так – челночным способом – строилась Ода. И смысл ее, по видимому, двусторонен – как и положено настоящему смыслу.

...И долго не мог уснуть от ненависти и сознания бессилия, которое чувствует всякий, сталкиваясь с упрямством невежды. Мотылек подлетевший на свет не любопытен, а влеком неким тропизмом. Отлавливать выпущенные слова тоже трудно, но не любая попытка напрасна.

...Тот, кто ткёт паутину утончённых разговоров, дабы улавливать невежественных насекомых сачком слов. По всей вероятности, вряд ли стали бы суетиться и изображать поток сознания, поскольку их больше интересует его пар. Тишайшим небом разговор не начат.

При изучении времени его иглы ласково скользят в материи, не нуждающейся в целостности. Что ложно воспринимается как озарения. Попытаемся соединить (такова страсть бесконечно бессмысленных "почему?"): озарения в действительности являются мельчайшими отверстиями (кто-то произносит: откровениями, но я плохо слышу). Тогда возникает фигура рисовальщика, и его губы уверенно шепчут слово "нить" (можно: разные нити). "Нить" и "время" необыкновенно часто путает в своем кукольном обиходе критика. Вообще-то хорошего рисовальщика трудно найти. Прежде всего надо иметь очень красивый почерк, похожий на типографский шрифт, но более гибкий, а также уметь одним взглядом оценить и рассчитать все, для того, чтобы точно уместиться в рамках пузыря, не упираясь в края, это уже трудно, особенно в начале.

Тогда фигура рисовальщика исчезает. Слово "нить" остаётся в воздухе. Мы возьмём её в пальцы. Будем бережны и поостережёмся невесомых и случайных, как сны о любви, порезов. Из конверта выпадет карта из колоды, а следом записка: "свитер связан из одной нити, во всяком случае такова идеология свитера. Дырки его есть топологические нюансы галлюцинации, отклонение прямой, не прерванной – но наступающей и пересекающей самое себя. Зимой дыры начинают греть". Отсюда поиски карты – то есть логики.

...Стоял словно мера вещей, и рядом с ним можно было проверить себя. Он сумел, казалось, сделать невероятное: в очередной раз утвердить и выстроить слово на его невозможности. ...Исследования столь глубокого, что всякий мыслящий русский стремился укрепить свое мировоззрение его чтением.

Он потенциально бесконечен, как известная книга у Х.Л. Борхеса. Актуально он может выглядеть только так, как он выглядит. В нем, с точки зрения бесконечности, почти ничего нет (это не онтология и даже не антология), но в то же время в нем есть все, чтобы самому читателю

продолжить (или начать?) заданный в ней творческий ход и поддержать экзистенциальным усилием заявленные в книге символы Веры. Поэтому данная книга и посвящена: всем.

Это, в сущности, – своеобразная жажда бессмертия. Казалось бы, откуда? Почему? Но жажда бессмертия так же необъяснима, как необъяснима жизнь и необъяснима смерть. Она будет своего рода открытой могилой, напоминанием о том, что я существовал. Я умру, зная, что мне в какой-то степени удалось победить смерть. Моя книга – это борьба против власти забвения, на которое я обречен. И если через много лет после того, как меня не станет, на земле найдется хоть один человек, который прочтет эти строки, то это будет значить, что я недаром прожил свою трудную и печальную жизнь.

Бензин ваш – идеи наши. Наш метод разрастается в систему. Мы утверждаем, что социальное поле непосредственно пробегаемо желанием. Мы изобрели новую космогонию литературы. Это будет новая Библия – Последняя Книга книг. Все, у кого есть что сказать, скажут свое слово здесь – анонимно. Мы выдоим наш век, как корову. После нас не будет новых книг, по крайней мере, целое поколение. До сих пор мы копошились в темноте и двигались инстинктивно. Теперь у нас будет сосуд, в который мы вольем живительную влагу; бомба, которая взорвет мир, когда мы ее бросим. Мы запишем в нее столько начинки, чтоб хватило на все фабулы, драмы, поэмы, мифы и фантазии для всех будущих писателей. Они будут питаться ею тысячу лет. В этой идее – колоссальный потенциал. Одна мысль о ней сотрясает нас. Если Конфуций, Ларошфуко или какой-нибудь другой сочинитель мудрых мыслей, гравированных на мраморе, еще не сказал этого где-нибудь, то значит именно я делаю сейчас это открытие. Заявление сделали профессора, экономисты, педагоги, писатели и другие «интеллектуалы». Его вынесли на первую полосу как свидетельство нынешнего состояния культуры.

Дайте мне время – я докажу вам, кто из нас прав. Я когда-нибудь так крутану ваш скрипучий ленивый эллипсоид, что реки ваши потекут вспять, вы забудете ваши фальшивые книжки и газетёнки, вас будет тошнить от собственных голосов, фамилий и званий. Гневный сквозняк сдует названия ваших улиц и закоулков и надоевшие вывески. Вам захочется правды. Завшивевшее тараканье племя, укоряем мы наших читателей, безмозглое панургово стадо, обделанное мухами и клопами.

«То, что я предсказывал двадцать два года назад, то, во что я незыблемо верил еще задолго до того, то, что я пообещал друзьям в самом названии этой книги, названии, которое я дал ей, еще не будучи уверен в своем открытии, то, что я призывал искать шестнадцать лет назад, то, ради чего я посвятил лучшее время своей жизни... я наконец открыл это и убедился в истинности этого сверх всяких ожиданий... И теперь, после того как восемнадцать месяцев назад еще царил мрак, три месяца назад забрезжил свет дня и буквально несколько дней назад ярко засияло само Солнце удивительного открытия, меня ничто не сдерживает: я отдамся священному неистовству; я огорошу человечество чистосердечным признанием, что я украл у египтян золотые вазы, чтобы воздвигнуть из них далеко от границ Египта скинию моему Богу. Если вы меня простите, я возликую; если будете гневаться, я стерплю; жребий брошен, книга написана, и мне все равно – будут ли ее читать сейчас или позже; она может подождать своего читателя и сотню лет, если сам Господь ждал шесть тысяч лет, чтобы человек смог постичь Его труды».

«Сотрудники сайта "Непрерывный суицид" истерически счастливы сообщить вам, что торжественное возобновление культурно-террористической деятельности намечено на самое скорое время, и предположительно будет приурочено к ближайшему Концу Света. Следите за расположением звезд, лунными циклами и шорохами в телефонной трубке: мы вас уведомим самым жестоким и внезапным образом».

До сих пор я ещё не слышал ни одного компетентного о себе мнения.

Это короткое предисловие я до сих пор считаю достаточным для читателя или, точнее, зрителя, могущего вызывать на экране своей лобной кости картины, возбуждающие смыслы.

Другое дело, что в наше время легче найти спонсора на издание книги о погибели, чем о возрождении, может быть, поэтому выбран такой подзаголовок?

Текст романа можно использовать в качестве гадательной книги. В жизни духа случаются моменты, когда механизм письма начинает выступать в качестве автономного первопринципа и становится судьбой. И именно в этот момент в философских умозрениях и в литературном творчестве обнаруживается в полной мере и сила слова, и его бессилие. Нельзя усложнять до бесконечности ни характер, ни ситуации, в которые он попадает. Мы все о них знаем или, во всяком случае, о многом догадываемся.

Глава 8. Фрагментарный метод

Есть только одна вещь хуже скуки – страх перед скукой. Именно такой страх я испытываю всякий раз, раскрывая какой-нибудь роман. Мне не интересна жизнь героя, я не включаюсь в ее перипетии и не верю в нее. Жанр романа израсходовал свою субстанцию, и у него нет больше предмета изображения. Персонаж умирает, и умирает вместе с ним интрига. Разве не показательно, что единственно достойные интереса романы сейчас те, где внешний мир упраздняется и где ничего не происходит? В них даже автор кажется отсутствующим, лишь "призрак автора" может явиться в тексте в качестве одного из голосов-персонажей. Жанр романа не приспособлен для того, чтобы описывать безразличие или пустоту; надо бы изобрести какую-то другую модель, более ровную, более лаконичную, более унылую.

Раскрытие специфики текста происходит на основе "внутренних резервов" текста. Текст не всегда соотносится с автором, а тем более с читателем. Мне всегда казалось странным, например, литературоведение. Зачем, спрашивается, докапываться, что именно автор хотел сказать тем или иным текстом? Автор что хотел, то и сказал, и кому надо, тот поймет, а кому не надо, поймет по-своему. Не является ли это попыткой литературоведа, вернее, общества, которому данный литературовед служит, подчинить своему мнению мнение читателя вместе с самим литературным произведением?

И зачем нам даже спрашивать художника, что он имел в виду на самом деле? Точно так же, как вы и я – не всегда лучшие интерпретаторы наших собственных действий (что подтвердят наши друзья), так и художники не всегда бывают лучшими интерпретаторами своих собственных произведений.

Развитой постмодернизм – это такой этап в эволюции постмодерна, когда он перестает опираться на предшествующие культурные формации и развивается исключительно на своей собственной основе. Ваше поколение уже не знает классических культурных кодов. Илиада, Одиссея – все это забыто. Наступила эпоха цитат из телепередач и фильмов, то есть предметом цитирования становятся прежние заимствования и цитаты, которые оторваны от первоисточника и истерты до абсолютной анонимности.

И тут случилось страшное. Я потерял источник. Цитата есть – вон она, срисованная через команду «Копировать», а откуда – не помню. Источник молчит. Это что-то. Не хочет описанным быть. Потому и молчит. Источник, который обычно столь щедр на цитаты. Но только не спрашивай, спрашивай, как я живу. Не пойдёт. Удалить? Ок.

Восхитительно неудобочитаемые, не имеющие ни начала, ни конца, они могли бы с успехом на любой странице закончиться или растянуться на десятки тысяч страниц. В связи с этим мне приходит в голову вопрос: можно ли до бесконечности повторять один и тот же эксперимент? Написать один роман без предмета повествования – это как раз неплохо, но зачем же писать десять, двадцать таких романов? Придя к выводу о необходимости вакуума, зачем этот вакуум приумножать и делать вид, будто он приятен? Имплицитный замысел произведения такого рода противопоставляет износу бытия неиссякаемую реальность небытия. Несостоятельный с точки зрения логики, этот замысел верен тем не менее на уровне эмоций. (Говорить о небытии иначе как в эмоциональном плане означает пустую трату времени.) Он подразуме-

вает поиски без внешних ориентиров, эксперимент внутри неисчерпаемого вакуума, внутри некой пустоты, воспринимаемой и мыслимой через ощущение, а также подразумевает парадоксально неподвижную, застывшую диалектику, динамику монотонности и безликости. Движение по кругу, не правда ли? Сладострастие незначимости – самый тупиковый из тупиков. Использовать ощущение тоски не для того, чтобы превращать отсутствие в тайну, а для того, чтобы превращать тайну в отсутствие. Никчемная тайна, подвешенная к самой себе, не имеющая фона и неспособная увлечь того, кто воспринимает ее, дальше откровений нонсенса.

«Фрагмент – у меня в крови, – обронил он однажды. Я обречен осуществиться лишь наполовину. И эта усечённость – во всём: в манере жить, в манере писать». Человек отрывков. Человек рубежа, слома по ненасытной страсти в поисках последних пределов любого переживания и мысли, он настолько же избрал фрагментарность словесного выражения по собственной воле, насколько и был на нее обречен. Переворачивая знаменитую формулу, я бы сказал, что фрагмент – это такая разновидность прозы, чей центр нигде, а окружность везде. Форма «центробежного» высказывания, фрагмент существует парадоксальной напряженностью без сосредоточенности, как бы постоянным усилием рассеяния, тяги от центра ко все новому и новому краю. На первый – и ошибочный – взгляд, многократно повторяясь, автор, напротив, опять и опять опровергает себя, до бесконечности множит микроскопические различия, в которых здесь – вся соль. «Судорожное», «конвульсивное» письмо – уникальное соединение порыва и оцепенелости – движется по-змеиному неуловимо и, при всей своей мозаичности, как-то странно живет. Продвигаясь от вокабулы к вокабуле, от пробела к пробелу мельчайшими мышечными сокращениями, словомысль гипнотизирует, приковывает читателя: она всегда находится как раз на той точке, где остановился сейчас наш замороженный взгляд. Фрагментам пора, наконец, выстроиться в каталог.

Отрывистый стиль для него – «принцип... познания: любая хоть чего-нибудь стоящая мысль обречена у него сейчас же терпеть поражение от другой, которую сама втайне породила».

События предстают так, как если бы они были цитатами, взятыми из разных источников и собранными вместе. Прием фрагментации усиливает элемент присутствия. Может, это то, чего добивался А. Тарковский, когда говорил актерам массовки, что они должны всегда играть так, как если бы были главными героями, для того, чтобы пространство, являясь вместилищем действий и событий, превращалось в нечто ментальное, во внутреннее пространство разума и мысли.

Бог создал меня простодушным, глуповатым и наивным. Непосредственным впечатлениям я всегда поддавался больше, чем внушению, исходящему от сущности вещей. От этого проистекает поверхностность в моих взглядах, смешная податливость и обескураживающая способность самообманываться. Спешу признаться в этом, дабы не уличил меня проницательный читатель, в руки которого может попасть это сочинение. Так и представляю себе его, возмущенного, с гневом швыряющего книжку в угол и восклицающего: "Да автор попросту дурак!" Едва лишь в сознании возникнет этакая картина, как дрожь пробирает меня до самых пяток. Нет, куда лучше быть искренним и говорить без обиняков.

Мы не доверяем прохвостам, мошенникам и балагурам, а ведь вовсе не они несут ответственность за великие судороги истории. Ни во что не веря, они, однако, не лезут к вам в душу и не пытаются нарушить ход ваших тайных мыслей. Они просто оставляют вас наедине с вашей беспечностью, вашей никчемностью или с вашим отчаянием. Однако именно им обязано человечество редкими мгновениями процветания: они-то и спасают народы, которых истязают фанатики и губят "идеалисты".

И как бы мы смогли вытерпеть законы, кодексы и параграфы сердца, в угоду инерции и благопристойности, наложенные на хитроумные и суетные пороки, если бы не эти жизнерадостные существа, чья утонченность ставит их одновременно и на вершину общества, и вне его?

Легкомыслие дается нелегко. Это привилегия и особое искусство; это поиски поверхностного теми, кто, поняв, что нельзя быть уверенным ни в чем, возненавидел всякую уверенность; это бегство подальше от бездн, которые, будучи, естественно, бездонными, не могут никуда привести. Остается, правда, еще внешняя оболочка – так почему бы не возвысить ее до уровня стиля?

Глава 9. Мир людей

Вначале кажется, что почти не о чем говорить... Всякое сказанное слово требует какого-то продолжения, ибо только оглянувшись и можно перевести дыхание. Наверное, лучше всего это происходит и проходит в чтении – мы понимаем, что весь веер попыток указать на такое слово складывается в сундуки, равно как перья, птичьи скелеты, бабушкины склянки, знамена судьбы – нас не удалось обмануть, и то сказать! Куда уж.

Но, "Боже мой", почему так грустно, когда смотришь вслед удаляющейся в холодный туман, на холмы, по глиняным дорогам некой фигурке. Как долго её будет удерживать зрение? Вам этого не скажет – никто. Это "никто" – конечно она. Она в ответ молчит, ничего не хочет сказать, такой у них закон. (Ночью и роща молчит слушать не хочет листья сложила свои слушать не хочет.) Об этом вообще можно только молчать. А если говорить, то получается какая-то чушь. Как только ты пытаешься его перехитрить, "появится такая вещь, что если кто вздумает покрыть её, будет покрыт ею". Нельзя никому передать и которым невозможно ни с кем обменяться. То, о чём не следует говорить, говорит само за себя. "Всё моё знание – это завтрак, завтрак простуженной англичанки". Я слов не говорю. Я не обращаю внимания на них, вбирая на слух уже и не сами слова, а их меланхолию: я знаю: они – вывеска, и прочесть её трудно. Ибо слова подчиняются лишь тогда, когда выражаешь ненужное, или приходят на помощь, когда не нужно. Итак, каждый приступ есть новое начинание, набег на невыразимость с негодными средствами, которые иссякают... Что это за слово, которое знают все? Не верю никаким словам. Не в слове – дело, а почему слово говорится. Слово "лезвие" успокаивает, а от слова "кошка" становится тепло. Жизнь не дает повода для фиксации. Молчание – будущее дней.

Женщина, повисшая на моей руке, была беременна, через шесть или семь лет существо, которое она носила в себе, сумеет прочесть небесные письма, и он, или она, или оно, узнает, что это была сигарета и позже начнет курить, возможно, по пачке в день. В чреве на каждом пальце вырастает по ногтю, на руках и ногах, и на этом можно застрять, на ноготке пальца ноги, самом крошечном ноготке, который можно себе вообразить, и можно сломать голову, пытаясь это постичь. На одном конце перекладки – книги, написанные человеком, заключающие в себе такую дребедень мудрости и чепухи, истины и лжи, что, проживи хоть столько, сколько жил Мафусаил, – не расхлебать похлебки; на другом конце перекладки – такие вещи, как ногти на ногах, волосы, зубы, кровь, яичники, если хотите, неисчислимы, написанные иными чернилами, иным почерком, непонятным, неразборчивым почерком.

Рассказ, не знающий себе равных по страстности выраженной в нём тоски, написанный как бы из некоего далека и высока, почти сновидения; ибо при всей кажущейся конкретности деталей, все здесь в сущности абстрактно, условно.

Эту позицию невозможно назвать ни стоической – ибо она продиктована, прежде всего, соображениями эстетико-лингвистического порядка, ни экзистенциалистской – потому что именно отрицание действительности и составляет её содержание. Рукопись "с душком", сколько здесь тёмных змеящихся смыслов...

Он прочёл эти строки и медленно опустился на диван, словно кто пихнул его в грудь. Когда-нибудь и этот текст закончится. Последняя строка всегда права.

Так последний миг может всё изменить! Тем хуже для нетерпеливых людей, которые не хотят слушать до последней минуты! Ибо разгадка тайны, может быть, содержится в последнем слове... Ни в коем случае не уходите до конца!

«По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берёт верх над всякими соображениями, и он даёт себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нём сумасшедшего и человека. Трудно передать его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решётках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попури из старых, но еще не допетых песен». (Чехов А.П. Палата №6)

...И дальше в том же духе. Я и половины из того, что он говорил, записать не смог бы. Он вещал бессвязно, как безумный, брызгал слюной через слово. Мне кажется, болезнь уже разъедала его мозг, ведь годы спустя он так и умер в бреду.

Уже само наличие времени, то есть того неотвратимого, что превращает людей в старых, больных и мертвых, говорит о человеческом бессилии. Если бы человеческая история воплотилась не во времени, а в какой-то иной субстанции, тогда еще можно было бы вообразить, будто она действительно творится людьми. Но поскольку именно время является измерением истории, а именно это измерение делает человека беспомощным, то роль частной жизни и роль сильной воли сводится к коротким репликам на авансцене. Сама же пьеса играется без нашего на то разрешения; и занавес поднимаем не мы, и, что хуже, не мы его опустим.

...На какой-то стадии приходит сознание несерьезности всего, что делал, чем жил, и это чувство способно довести до отчаянья, пока не вспомнишь, что и вся мировая история не очень-то серьезна. Историки листают сто раз перелистанные страницы, чтобы уточнить годы жизни какого-нибудь султана или пересмотреть роль монетарной системы в упадке Венеции. В истории столько всего произошло, что найдутся факты для подкрепления любой теории. Мировая история, в сущности, есть шум вокруг последних новостей. Мир – модель Ноева Ковчега: горстка людей и бездна скота. Этот взгляд на историю основывается на следующем принципе: история человечества представляет собой регресс, нисхождение, умаление бытия, его выветривание, что влечет ухудшение духовного качества жизни, нарастание катаклизмов, отступление от священных норм, впадение в беспорядок и хаос. Бесперывно убыстряющийся прогресс должен быть оплачен не иначе как постоянно усиливающимся человеческим регрессом, оскудением гуманного начала. Умные приспособляются к миру, дураки стараются приспособить мир к себе, поэтому изменяют мир и делают историю дураки.

Невпопад рекламы – значок короткой суеты. Монотонный фон, гудит как парходик. Прислушайся: ты слышишь гул толпы, тяжёлых дум, обычных новостей? Шумовой фон, вероятно, создает иллюзию жизни, полной смысла, событий. Или это способ заговорить пустоту, гложущую изнутри, как болезнь, попавшего в беду человека?

Читатель хочет развлечься. Новостной сайт – это замена его древнему, спрятавшемуся в глубине мозга желанию услышать новости племени. В городе, где жители разобщены, а племени как такового нет, сказителями служат телевизор и сайты. Они создают иллюзию того, что нечто важное происходит рядом и касается непосредственно тебя. Чаще всего – не касается.

Туземный народ задаёт здесь тоны, весёлые праздные недоумки, стадо, безмозглое быдло, сучье племя, рядясь в кафтаны, каждый вечер по улицам прёт. Их жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны. Нынче, кажется, никому ничего и выкнуть нельзя. Подлые у нынешнего человека инстинкты, скажу я вам.

Страбон и Геродот упоминают о «фтирофагах»: «многочисленное кочевое племя... они бреют свои бороды и едят вшей, когда какая-нибудь из них будет изловлена...». Почитание воды и рек только благоприятствовало данной традиции. Как можно интерпретировать фтиро-

едство? Напомню, что насекомые в мифологии имели различное семантическое наполнение. Например, божья коровка (Небо), бабочка (вместилище души), кузнечик (Божья лошадка), паук (архитектор Вселенной). Вши также соотносятся и с подземным миром. Для архаического самосознания высшим престижем обладает то, что сакрально, а сакрально то, что космологично. По сообщениям Ибн-Фадлана «каждый из них вырезает кусок дерева, величиной с фалл и вешает его на себя».

Цивилизация следует за культурой, пишет Шпенглер «как ставшее за становлением, как смерть за жизнью, как неподвижность за развитием, как умственная старость и окаменевший мировой город за деревней и задушевым детством».

Я открыл день. Очень приятны мне эти задумчивые молчаливые начала дней. Чем дни прохладней, тем они короче. Вот о чём я мечтаю этим унылым днём. Я выключил свет, на этом кончился день, загородивший мне всё... Жизнь – это много дней, извилистых, прихотливых. Этот день кончился, как делали все дни.

(Допустим: "Парк. Сентябрь."). Он говорит: "Я завтра буду в "Собаке". Ты со мной?" Пока он ждёт ответа, она смотрит на стекленеющую тень свою и чётко произносит: "Сегодня был ненужный день."

Жизнь развёртывалась предо мною как бесконечная цепь вражды и жестокости, как непрерывная, грязная борьба за обладание пустяками. Я по-прежнему сижу на вёслах этой проклятой лодки, то есть, пребываю и тружусь на бессмысленной каторге повседневности. Но с годами все осторожнее переливать из пустого в порожнее. Дни по-прежнему выют из времени верёвки, заставляя добывать хлеб в поте лица и 52 воскресенья в году.

Ни клочка облачка на небе, где меня с полудня наняли сторожить эту нежить, нежить эту жить, дребезжать и брезжить и – не тужить. Софья, не плачь, я видела в окно: твой двойник по небу плыл.

С ума тебя сводит телескопическая предсказуемость будущего. Ежедневность не сразу затягивает петлю. Можно сказать, нас эта дама и не прогнула вовсе. Тает в свете обычного дня автоматизм повторения. В этой части мир есть совокупность фактов. Это – начало большого сырого мира. Иногда это – кусочек дырчатого счастья, основа мечтаний. Несмотря на бесполезность данных, глаз продолжает их собирать. Отвечает: никакое не сожаление это, просто бережное, прямо как в школе, фактов бесспорных расположение. Предлог, чтобы не заниматься тем, чем стоит заниматься в этой жизни. Мир делится на человека, а умножается на остальное. Понимаете – квадрату меньше всего пришлось бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит – настолько это для него привычно, ежедневно. Вероятно, и рыбы не знают, что такое вода, потому что им не с чем ее сравнить. А когда они попадают на воздух, то у них не остается времени, чтобы воспользоваться сравнением воздуха с водой. Видите ли, я живу довольно нелепой жизнью. Это – ряд наблюдений.

Вот и всё, на что годен человек, – на то, чтобы скорчить гримасу, на которую у него уходит вся жизнь, а подчас и жизни не хватает, чтобы довести её до конца: эта гримаса так невероятно сложна и требует столько сил, что соорудить её можно, лишь отдав этому всю свою подлинную душу без остатка.

Прямая угроза, исходящая от обнажённой стали, всегда казалась мне ничтожной по сравнению с потаённым ужасом повседневности. Именно от неё люди издавна прятали в книгах то лучшее, что им удавалось добыть в скудных каменоломнях своих душ; собирали для своего пропитания всё великое и достопримечательное, что когда-либо было и ещё есть на свете.

Дорогой коммендаторе, прошу вас садиться, мой друг много рассказывал мне о Вас. Достоянейший пример, вся жизнь без колебаний отдана государственной службе. И затаенная поэтическая жилка, я угадал, не правда ли?

Но тщетно весельем морочит толпа, свободу отдашь за крупицу тепла, за горький глоток сострадания, за чёрный сухарь пониманья. Отдаёшь свои волосы парикмахеру, отдаёшь глаза

– постыдным зрелищам, нос – скверным запахам, рот – дрянной пище, – отдаешь своё детство попечительству идиотов, лучшие часы отрочества – грязной казарме школы, отдаёшь юность – спорам с прорвой микроцефалов, и любовь – благородную любовь – женщине, мечтающей о следующем, отдаёшь свою зрелость службе – этому серому чудовищу с тусклыми глазами и механически закрывающимся ртом – и гаснут глаза твои, седеют волосы, изошрённый нос принимает форму дремлющего извозчика, грубеет рот, и душу (печальницу-душу) погружаешь в омут будней...

От пролетающих дней и недель свист в ушах. Вращение мира изящно, оно сопровождается лёгким гулом. Вереница церемоний, коллекции фактов, смешные маленькие напасти. Я живу в бесчисленных образах, вереницы сезонов, и лет, образах жизни, в причудливом кружеве очертаний, и красок, и жестов, и слов, в красоте неожиданностей, и в привычном уродстве, в свежей ясности мыслей и желаний, я живу в нищете и тоске, им я не поддаюсь, невзирая на, я живу в приглушённой реке, прозрачной и хмурой реке зрачков, в муравейнике одинокого человека, в душном лесу и в братьях своих обрётённых, одновременно живу в голоде и в изобилие, в сумятице дней и чёрном порядке ночей, отвечаю ли я за?.. И даже плюшевые игрушки мне не милы.

Все испытывают потребность в новых звучных словесных погремушках, чтобы обвешать ими жизнь и тем, облагораживая бытовой абсурд, придать ей что-то шумно-праздничное. В силу рождения, местопребывания, воспитания, отечества, случайностей, а также назойливости других людей, их бытие, жизнь их – непрекращающийся скабрёзный фарс. Грустно от нашей суматошной, пустой и трогательной жизни. Сказано: гляди кругом-то – на все беды и убожества наши...

Его уже не занимала тяжкая сумятица жизни. Прохожие фигурки, идущие по своим пустяковым делам, суетливо озабоченные своей общей комедией, тем, как бы схватить последнюю порцию сведений... Люди, которые много говорят о пустяковых делах, в глубине души чем-то недовольны. Но чтобы казаться честолюбивыми и скрыть свое недовольство, они повторяют одно и то же снова и снова.

Но есть такое слово "надо", как в сказке: "Пойди туда, не знаю – куда, принеси то, не знаю – что". Пойдёшь налево – придёшь направо. Критинские газеты, весь этот зловещий идиотизм, вынь да положь. Таскать вам не перетаскать! Сделай то и сделай это, постели постель... Ложись в постель, как циркуль в готовальню. Зряшная, ни к чему не приводящая, грошовая суетня. Ну что, торопыга, куда-то теперь торопиться будешь? Горошины на очаге скачут, покоя не знают, прыг да шмыг. Ах ты неотвязный, чего суетишься? Да ведь я того-с... оттого только, чтобы и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстья или суетного чувства. Суета сует и ещё трижды суета. Пусть ни одного мелкого чувства не останется в сердце, ни грамма пыли. Когда зерно покрывается плесенью, не перебирай зёрен, поменяй амбар. Воистину суета человеческая, житие же – сень и соние. Ибо все мятётся всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобрящем во гроб вселимся, тогда иде же вкупе царие и нищии... Что было, то и есть – доселе и потом... Запомнится лишь то, что если жизнь – болезнь, то смерть – ее симптом. А остальное – мечь. Вот смысл того, что есть. Не укоряй несчастных, когда, копошась во прахе, они мечтают о радости. Их следует прощать даже тогда, когда они обращаются к злу. С тем же успехом можно наблюдать, как омары в аквариуме ползают друг по другу (для чего достаточно зайти в рыбный ресторан). Хотя лучше, если именно вздор вас приводит в движение – ибо тогда и разочарование меньше. Минимум возни. Существуют места, где ничто не меняется. Паршивый мир, куда ни глянь. Куда поскачем, конь крылатый? Везде дебил или соглядатай или талантливая дрянь.

Братец ты мой, сколько людей на этой планете? И не хочется встречаться ни с кем взглядом. Лица у людей неподдельно злы. Но неужели, Боже, одни лишь дураки дают приплод? Неужто вздох (когда целуешь в ушко) чужой жены, – он стоит чьей-то жизни? Всё же слыш-

ком часто неоправданно злы. И таких большинство, если в этом есть утешение. Удивительные люди знак восклицательный знак вопросительный. Люди грядут, которые больше не будут бояться себя, ибо не страшен тот, кто сам себе не страшен. Кто не боится людей, того и люди не боятся. Я думаю, первоисточник зла – в невыносимости человека для самого себя. Если я невыносим себе, я так или иначе разрушу и всё вокруг. А между тем, согласно естественному ходу вещей... И даже улыбка – это первобытный оскал, защитная реакция, устрашающая и обнажающая клыки.

Что это за мир, где не только дружба перечеркивает вражду, но и вражда перечеркивает дружбу, а могила и урна перечеркивают всё. И больные желудки, и исполненные подозрения сердца, и жесткие улыбки, и столкновение идей, все человечество пылает ненавистью и пепелицей. Хватит времени, чтобы умереть в невежестве, но раз уж мы живем, то что нам праздновать, что нам говорить? Что делать? И мы все лишь деремся до смерти – Зачем? На самом деле, зачем я сражаюсь сам с собой?

Зачем еще нам жить, если не обсуждать (по меньшей мере) кошмар и ужас всей этой жизни. Боже, как мы стареем, и некоторые из нас сходят с ума, и все злобно меняется – болит именно эта злобная перемена, ведь как только что-нибудь становится четким и завершенным, оно тотчас разваливается и сгорает.

«Выбор преступниками места кражи определяется прежде всего доступностью предметов преступного посягательства, а также возможностью быстро и незаметно похитить их. Определённую роль здесь играет беспечность самих потерпевших (оставление ключа под ковриком около входной двери, приглашение в дом случайных знакомых, оставление вещей без присмотра и т.д.)».

Глава 10. Женский элемент

...Как раскладывал бы ее поперек кровати ночью всю мою и старательную и искал бы ее розу, копи ее бедер, ту изумрудно-темную и героическую вещь, которую хотел. Вспоминаю ее шелковистые бедра в узких джинсах и как она складывала одну ногу, подсовывая под себя ладошки, и вздыхала, когда мы вместе смотрели телевидение...

Я покажу забытой, что не забыл. Да кто там топчется, черт возьми, кто этот слюнявчик, бубнящий чушь в её жёлтые, спутанные пряди, когда она качается в моих руках? "Какие танцы, Заратустра, – бормочет она. Уходи, не мешай нам..." Уходи, танцор, и вы тоже уходите, – вы, жрущие горстями снотворное и пускающие в тёплые ванны свою рыбу кровь, – как вы вообще смеете корчить гримасы, даже если жизнь испражнилась вам в морду? Радуйтесь! – она пометила вас как свою территорию, она будет защищать вас! И все остальные, – от рыбака до фискала, – пошли вон! Ей не хватает воздуха, а мне доверия к вашим шаловливым ручонкам: вы обязательно растащите моё тонкое листовое время, эмали чувств, тиски обстоятельств, молочек сердца, начеканите целую кипу ереси – пьяный блудный сын променял папу на грешницу, – и всё это останется не востребованным, как жёлтые перстни рыночного армянина... – Я бы выклянул бы себе мраморное сердце, – но все это могло бы быть лучше, чем может быть, одинокие нецелованные губы мрачно кривятся в склепе. Я сделаю это, я вылижу последний уголок жизни, куда она вся и забилась. Все вон! В моём маленьком мерцающем кадре места лишь на двоих, и мне не нужны апостолы, а тем более зрители. Сейчас, пока я не протрезвел, мне хватит слёз, чтобы омыть её грязные ноги, и жара губ, чтобы осушить их, – а потом я положу к этим ногам все заработанные войной деньги, все усыпанные бриллиантами ордена, и, попросив – нет, не отпущения грехов, – а всего лишь разрешения остаться до утра, улягусь у её ног.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда сопоставляю с ним странные обстоятельства моей жизни. Мы сделаны из вещества того же, что наши сны – и сном окружена вся наша маленькая жизнь...

Давно прошли те сложнейшие сплетения самых разнообразных и навеки переставших существовать причин, – потому что ничья память не сохранила их, – которые зимой того года заставили меня очутиться на бронепоезде и ехать ночами на юг; но это путешествие все еще продолжается во мне, и, наверное, до самой смерти временами я вновь буду чувствовать себя лежащим на верхней койке моего купе и вновь перед освещенными окнами, разом пересекающими и пространство, и время, замелькают повешенные, уносящиеся под белыми парусами в небытие, опять закружится снег и пойдет скользить, подпрыгивая, эта тень исчезнувшего поезда, пролетающего сквозь долгие годы моей жизни. И, может быть, то, что я всегда недолго жалел о людях и странах, которые покидал, – может быть, это чувство лишь кратковременного сожаления было таким призрачным потому, что все, что я видел и любил, – солдаты, офицеры, женщины, снег и война, – все это уже никогда не оставит меня – до тех пор, пока не наступит время моего последнего, смертельного путешествия, медленного падения в черную глубину, в миллион раз более длительного, чем мое земное существование, такого долгого, что, пока я буду падать, я буду забывать это все, что видел, и помнил, и чувствовал, и любил; и, когда я забуду все, что я любил, тогда я умру.

Я иду. А куда я иду? Не знаю. Я даже не думаю об этом. Какой-то обрывок сознания, неизвестно в каком темном закоулке моих извилин должен был это знать, потому что я прихожу в себя перед домом Элоди. Я сам удивлен. Почему Элоди? О, да потому, что именно она причина всего этого, потому что это ее вина, потому что я хочу ей сказать, что дело сделано, жертва принесена, потому что я хочу излить на нее все мое бешенство, потому что я хочу к ней прижаться, потому что я хочу отхлестать ее по щекам, потому что я хочу выплакаться между ее грудями, потому что я хочу, чтобы она восхищалась мной и утешала меня, потому что я хочу убедиться, что не сделал глупость века, потому что хочу заняться с ней любовью, потому что хочу доказать себе, что оно того стоило, потому что более всего хочу, чтобы женщина ублажала меня, сказала мне «Ну... ну, успокойся...», и дала мне грудь, и раскрыла мне бедра и лоно, и взяла меня за руку и ввела меня в себя, и слушала бы, как я мешаю любовные рыдания и любовный хрип, шепча мне те глупые слова, какие шепчут страдающему ребенку. Ну и вот. Именно этот инстинкт толкал меня, заставил меня прибежать сюда. К женщине, единственному убежищу, к гигантскому влагалищу, куда можно погрузиться целиком и свернуться зародышем в самой его глубине, вдали от мира и беды.

Настоятельница сердца, доносящая до меня бесценную амбру, аромат моего ума, свидетельница предвиденных и возлюбленных мною движений тела, слагающихся в медоточивый рассказ о длительности тех испытаний, которым оно себя подвергает в неслиянности, исследовательница того, что предстоит мне видеть и слышать, заботливая и корыстная, красноречивая и ясновидящая, источник раздоров, взаимных обвинений, слабоволия, беззаботности, сильных прикосновений, приоткрытости, рта, крупного носа, толковательница сновидений, вручаемых из рук в руки.

Время от времени я смотрю на Женевьеву. Часто. Мне очень нравится смотреть на нее. По мере старания она высовывает язык. А меня этот высунутый кончик языка, влажный и розовый, наталкивает на разные мысли. Я задаю себе вопрос, что я буду с ней делать сегодня вечером. Она позволяет мне делать все, что я хочу. Что бы я ни изобрел, она довольна. О, это не так уж много. Я не порочен и не любитель все усложнять. Мне нравится зарываться лицом между ее большими грудями или между ее полными бедрами, или между ее большими ягодичками, между всем, что у нее есть большого и полного. Я всюду шарю языком, я пролезаю в ее влагалище как можно дальше, ее вульва у меня на лице как эскалоп, но эскалоп живой, теплый и влажный, и пахучий, и любящий, о да, любящий, такой любящий! Я проникаю в нее, где мне угодно, тут или там, это всегда приятно, всегда необыкновенно. Во всех местах – женщина. Полными горстями, всласть, до смерти. Она может получить свой оргазм двадцать раз, в то время как я – только один, тихонько вскрикивая, громко вздыхая, с глазами, переполненными

благодарностью и любовью. А после она обнимает меня, покрывает мне лицо мелкими поцелуями, приговаривая: «Мой дорогой, мой миленький...», долго, и потом мы так и засыпаем, и так просыпаемся, а иногда среди ночи мне вдруг захочется зарыться ей куда-нибудь, тогда я раздвигаю ее полные бедра, например, и я в свое удовольствие разглядываю ее плотно сомкнутое дородное лоно, я осторожно раздвигаю ее спутанные волосы – у нее здесь обильно растут волосы, масса густой растительности вдоль всей щели – я приглаживаю их тыльной стороной ладони, эти буйные кудри и освобождаю во всей красе большие губы, такие же смуглые, такие же нежные, как кожа моих яичек. Наконец появляются малые губы, розовые и перламутровые, я раздвигаю их тоже и наслаждаюсь созерцанием всего, что есть внутри, даже наши собственные выделения, оставшиеся с прошлого раза, смешавшиеся, застывшие и образующие нити паутины, а запах, мамочка, запах разврата и логовища, запах любви... Это и есть наша жизнь.

Одна моя знакомая как-то призналась, что получила наглядное представление об устройстве женского тела лишь внимательно разглядывая свою новорожденную дочку. Я поразился (ведь замужняя женщина!) – и только тогда почувствовал всю бездну, отделяющую нас от женщин. Оно – снаружи, а у женщин – внутри: такая тайна, что они и сами-то ясного доступа к ней не имеют. Себя не знают, а мы себя знаем

. Не потому ли женщина так нуждается в зеркале, что, в отличие от мужчины, лишена его в самой себе. И зеркальце у нее всегда под рукой, как у мужчины – его природный двойник. Ему-то это хрупкое стеклышко в сумочке ни к чему, потому что он свое продолжение-отражение при себе живым носит и всегда может нащупать и опознать себя. Один знакомый вспоминает, как лет в пять, когда мать засыпала, он с фонариком залезал к ней под одеяло и пытался хоть что-то увидеть... Да где уж, если из мрака выступает только более темный мрак.

Светлеет. Шорохи, скрип, задушенные голоса, – все потихоньку уходят, унося смех, как эпилог ночного страха: такие серьёзные люди, а каким кубарем катились! Отстань, женщина, чего ты лепечешь? Разве ты не видишь, – мы долетели; разве ты не чувствуешь, – он уже расцвёл, мой цветок. Немигающая рептилия, магическая пентаграмма, сложенная из лоскутов змеиной кожи, – другу на память от повелителя мух. Все аристократы флоры – от розы до крапивы – все боятся и презирают его. Он тошнотворно красив – камуфляжная звезда, пахнущая тухлой кровью, – и чем дольше я знаю его, тем острее желание склониться к нему и вдохнуть. Мясные мухи, грифы, красноглазые гиены, вам нечем здесь поживиться, здесь человеческое, слишком человеческое – расступитесь и дайте человеку приблизиться. Мне нужен этот запах, такой противный для многих, – я узнаю и обожаю его, – запах возвращения. Так пахнет встающее над горами солнце... Люди, вещи, страны в итоге сводятся к запаху.

И она бросает ему такую вялую улыбку, которая стоит больше, чем все ее нагое тело, по-настоящему философскую улыбку, ленивую и амурную и готовую ко всему, даже к дождливым дням или шляпкам на набережной, женщина, которой больше нечего делать, кроме как зайти навестить своего старого возлюбленного и поддеть его расспросами о жизни. ... Могут стать и по случаю удержать мне к тому же премного любви, и я всегда могу оставить их и странствовать дальше – насмешки – насмешки любви женщины были б лучше, я полагаю...

Глава 11. Природа человека

Пункт, касающийся Вашей глупости. Тут говорить можно и нужно долго, ибо глупость Ваша безгранична и необъятна, как Вселенная. Путешествие в страну непуганых идиотов. Самое время пугнуть.

Многие люди подобны колбасам: чем их нашпигуют, то они и есть. Суждения более опытного человека будут казаться окружающим совсем не беспочвенными. Разум такого человека можно уподобить дереву со многими корнями. И в то же время мы часто встречаем людей умственные способности которых напоминают воткнутую в землю палку.

Его не любили, и он не любил. Они просто ворчали, безадресно жаловались. Обрати внимание на их жалобы и на их мелочную возню и заклеить их обидными выражениями. Изжить, тем самым устранить из жизни, зверька, умеющего кусаться. Его не тревлили. Ему причиняли зло не намеренно, а просто потому, что какие-то люди преследовали свои интересы. Просто пытались во всём добиваться лучшего: чтоб всегда на столе была еда – и чем бы еда эта ни оказывалась, поделить её на ломтики. В них нет прямого зла – в них только мелочность, как в любом из нас. Разнообразие их целей и задач. Мир весь вибрирует от пересекающихся скрытых интересов. Если вы поможете другу в беде, он наверняка вспомнит о вас, когда снова окажется в беде. Невозможно жить с людьми, зная их задние мысли. Ему то и дело давали понять, что он даром ест хлеб. Больше нечего людям делать, как только тебе, мудаку, вредить. А если вредят, значит, так тебе, мудаку, и надо. Не касайся того, что тебя не касается. Дай себе право вовремя установить: неувидительны те, кто бормочет что-то своё постоянно. Становишься на сторону преследователя чтобы убедиться, что никакого преследователя тут нет. Битых стёклышек горсть, – выдавала гримаску за гримаской... Подними с земли прутик и начерти круг на песке. Черты не мелом, а любовью, того, что будет, чертежи. Нет причин быть обиженным. Всё это один круг. Жизнь всегда стремится исполнить наши желания, какими бы странными они ни были. Ни одно желание не даётся тебе отдельно от силы, позволяющей его осуществить. Играй, пока идет игра. Игры – это очень серьёзно. Этим не обязательно подразумевается, что играют для того, чтобы выиграть. Можно сделать ход из удовольствия его изобретения. Конец игры – это начало игры. Не к добру людям исполнение их желаний. Не во всех играх можно сохраниться. Свежее бельё пахнет Антарктидой.

Именно бесконечность представляется тем <смыслом>, который так ищет человек, ибо какой <смысл> в бесконечном? Его непостижимость? Но тогда высший смысл в непонимании, и восхищение – наиболее приятная форма непонимания. Тогда и наши бессмысленные тавтологии вдруг наполняются смыслом, поскольку для конечного единственная возможность создать бесконечность – замкнуть круг бытия. «Конечность», как верно писал Нанси, в принципе не является отрицанием «бесконечности»: «Конечность – не столько в том, что мы бесконечны – телесны, смертны и т.д. – а в том, что мы бесконечно конечны». Хотя, понятно, телесность, зримость, смертность и бытие-с-другими – и есть «бесконечно конечное».

И ковыряла палкой песок. Всегда неожиданно. Начинается и приводит к сознанию, что действие малозначительно, но всегда что-то значит. Безадресность глаз. Борьба без свидетелей. Весьма тихо. Свины спят. Но слепые всегда насторожены. Лестницы, дни, прикосновенья, года. Я думаю, если стараюсь. Грущу. Кто он, кому это нужно? Пускай выходит из темноты. А на лесенке – тьма, закадычная тьма. Я тебя подожду. Не взберёшься сама.

Петрарка говорит: «Там, где дни пасмурны и кратки, родится племя, которому не больно умирать». Человек здоровый, энергичный, довольный собой, человек с большой и ясно сознательной им жизнеспособностью; жаден жить или, лучше сказать, не столько желание жизни, сколько желание "полакомиться", сопряжённое с совершенным отсутствием идеи смерти. Да, да, они сильны, у них такие серьёзные лица. Они не чувствительны, когда дело касается других людей, и редко вникают в их положение, если не хотят раскусить их для своих целей. Они не уважают права, если не уважают того, кто ими обладает, а это случается редко.

Не физическое насилие, не мордобой, а отсутствие своей норы – отсутствие места, куда уйти от их любви. Жизнь вне их – вот где неожиданно увиделась моя проблема. Вне этих тупых, глуповатых, травмированных и бедных людишек, любовь которых я вбирал и потреблял столь же естественно, незаметно, как вбирают и потребляют бесцветный кислород, дыша воздухом. Я каждодневно жил этими людьми. Всюду жестокость, их целые семьи, вдальбливают с детства... И этот город для них построен. Быть ли мне тем, кто убьёт, или тем, кого убьют? То ли: обо мне кто-то скажет, что я оттуда. То ли: обо мне будут там говорить? Какую бы отвратительную

гадость не вытворял, найдётся человек, которому ты понравишься. Это не любовь, не вторая половинка. Просто вы уроды...

Ничтожества опасны, поскольку хитры и бесцеремонны. Их глаза подчеркнута обыкновенны. Их души жестоки, как грабли, их жизнь жестока, как выстрел. Счёт денег их мысли убыстрил. Чтоб слушать напев торгашей, приделана пара ушей. А сердца их подобны унылым болотным жабам. Забей, это же животные, пищеварительный тип...

В мире есть люди, которым на тебя не наплевать... Это люди, которые тебя ненавидят... Если б знать, в чём их секрет и где они берут столько влаги в их сухой, как промокашка, жизни. Конечно, завидую. Успех – единственный непростительный грех по отношению к своему близкому. Ах, как они живут, дрожа в предвкушении наступающего дня или ночи, как они прекрасно-подозрительны, как умеют различать интонации чуть ядовитее и взгляды чуть косее; могут расслышать в шуме листвы голоса стоящих под деревом, расшифровать не в свою пользу и, обидевшись, убежать в слезах или наорать, целя растопыренными пальцами в удивлённые глаза. Все до отказа набиты тайными расчетами. Изысканный словарь их нацеленного зла. Терять нечего! Можно не принимать в расчёт их пару-тройку интеллектуалов, импрессионистов, путаников с направлениями иногда мычащих что-то влево, иногда вправо, в глубине своей блядской душонки, все яростные консерваторы, cedящие по капле субтильные тонкости. Мстить и капризничать. Способность быстро угадывать слабые стороны людей. Чтобы они не растрчивали ненависть по мелочам.

Что порадует людей, затерявшихся в мелькании недель, в неброских годах слепых? Что-нибудь возьми, что движет невесёлыми людьми. Их исподтишковое зло, их гнусная и по-своему талантливая ожесточённость вогнали старого служаку в транс. Кто в их присутствии может оставаться безразличным? Контакт с ними никогда не бывает бесполезным. В разнообразном психологическом пейзаже каждый из них – особый случай. И что скрывают люди, кроме гадости? Тактика учит, что лучше не показывать достигнутое преимущество. Мысль – самая незаметная форма агрессивности. Даже когда приходится на время смириться, вовсе не обязательно во всеулышание признавать своё поражение, ведь слишком быстрое отступление подозрительно.

Она начинает слегка покачиваться, словно ей обидно. Очевидно, что в магазине даже крупный специалист в области гражданского права редко задумывается над тем, какую именно статью Гражданского Кодекса он реализует во взаимоотношении с продавцом (если, конечно, эти отношения не приобретают характер конфликта). Всякое опредмечивание обнаруживает себя только как отчуждение, враждебность и чуждость. Хотя свобода другого и не может быть отчуждена, конфликт является основой отношений людей друг с другом.

Мы можем, сколько угодно, оборачиваться во все стороны, как мы делаем это в подозрительных местах. А то, что у "власти козлиной козлят миллионы", я знаю давно, с ранней юности. Столь же давно я знаю горькую и беспощадную чеховскую цитату о том, что "дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума". Так было во все времена и во всех, кстати, странах и континентах.

Когда со мной случается что-то слишком хорошее, мне кажется, что меня наебывают. Когда я встречаю на улице подозрительный взгляд, я, против своей воли, отвечаю тем же. Если при мне оскорбляют человека, которому я должен быть признателен, мне вдруг становится так хорошо... В такие минуты я не замечаю подозрительных взглядов и смиренно потупляю голову... А стоит мне отойти от оскорбителя, я поворачиваюсь и смотрю на него презрительно. Он отвечает мне тем же.

Дети не жестоки, – они первобытны. Жестокость принадлежит к древнейшему праздничному настроению человечества. Жестокость, столь отчаянно бессмысленная, как поэзия. Потому что люди там, в своей бескрайней жизни, блуждают беспечно, что вчера напортили, сегодня исправляют. Но думал я не о них – о душистом мёде, который они все вместе собрали

сегодня. Мы не способны, в отличие от пчелы, добывать мед из горьких цветов жизни. Поэтому для многих из нас труд представляется каторгой, становится проклятием.

Отличный пример для нас пчела. Каждую минуту, пока продолжается сбор меда, она находит сладость в сорняках и даже в ядовитых цветах, то есть там, где нам никогда и в голову бы не пришло искать что-то приятное. Кодуэлл, единственный из всех, рискнул вспомнить о первобытности и, как и следовало ожидать, эстетизировал жизнь первобытных людей: будучи коллективистами, они были и поэтами. «Мы называем поэзией ту приподнятую речь первобытных людей, которая оставалась привилегией торжеств, мы видим, что, эволюционируя, она стала прозаической и разветвилась, найдя применение в теологии, истории, философии, драме. (Уважение к личности Кодуэлла, погибшего в Испании в составе интербригады, не должно мешать видеть его ошибки).

У человека закружится голова на той высоте, для которой он не создан. Нельзя говорить об океане лягушке, живущей в колодце. Нельзя говорить о снеге летнему насекомому – существу одного времени года... У маленькой жабы, затаившейся в сугробе, большие глаза и нежное горло. Но её полюбить нельзя. И не потому, что у неё кривые ноги. Просто она видит мир совершенно иначе. Лягушек надо ловить ночью, когда они увлечены своим кваканьем. Лягушку надо есть целиком, содрав шкуру и поджарив предварительно на костре или сварив. Тритонов и саламандр можно ловить под гнилыми бревнами или под камнями в водоемах. В животе становится холодно, как будто жабу проглотил.

Вспоминайте, глядя на людей, о недавнем их рождении, детстве или о близкой кончине – и вы полюбите их: такая слабость! Я не хотел им беды или кары свыше – ни их красивым книгам, ни их семьям, ни им самим лично я не хотел ничего плохого, но я хотел топтать и пинать их имена. (Ваши непородистые тексты. Как чистенький луг, лужайка с цветиками. Как не потоптать.)

Когда б не комары, то мне Париж – до фени! Я обнаружу и дам тебе знать – опа-ля, еще одна – значит, обнаружу и дам тебе знать, а-ау, как оно все. Всё это старьё... с кучей ресниц и сисек!.. Славным труженикам и одиноким прохожим – Ура-а! Ладно, пусть себе копошатся... а я ускользаю!.. ворота... дверь... оп!.. я бегу зигзагами... уже вечер... быстрее!.. быстрее!.. я могу думать лишь у себя дома... на улице я ничего не могу... только у себя дома!.. я скоро вернусь... вернусь... обязательно! да! Изловим провоката! Не дадим уйтить суке! Жив быть не хочу, коли не повешу бездельника!

Мечта во мне живёт, постепенно отбирая силы... Они беспокоятся, так они чувствуют себя полезными. – Откуда ты знаешь? – Догадаешься, пока живёшь... Голубчик, каждый человек может сказать все что угодно. Каждый человек все знает. А если не знает, то узнает... Но все равно его нет... Я хочу, чтобы вы все послали... – Дорогой, сколько раз вам повторять – вы ошиблись номером. Вы принимаете меня не за того, кто вам нужен... И вообще – кто вы такой? «Все ваши мысли о счастье в незапамятном прошлом или в будущем, – не более чем чушь. Исцелитесь от ностальгии и перестаньте верить в детские сказки про начало и конец времен. Вечность – это всего лишь мертвая длительность, которой интересуются только дебилы. Дайте полную волю мгновению, пусть оно поглотит ваши фантазии».

Пятьдесят девять секунд из каждой минуты – сейчас нет. Мы не должны растрчивать свои дни. Мы должны их отдать в жертву, чтобы они существовали! В начале и в конце – есть только слово. И сейчас оно есть, падла, и мы верим в него и надеемся, неужели оно подведет? Но все же, сука, ты не удержался... Видно, что у тебя было мало счастья в жизни. Еще бы! Счастье должно быть нормальным, а не просто удовольствием от того, что ты умеешь вдыхать воздух. Есть вещи и посерьезнее, – крикнула она с кровати в открытую дверь.

Он говорит, жуя свои тосты – пардон: свои поджаренные тартинки – звук такой отвратительный, как будто мышь грызет стропила. Он делает большой глоток чая с молоком, не

торопясь вытирает рот и говорит мне, глядя прямо в глаза, как мужчина мужчине: «Ладно. Раскроем карты».

Я схватила туфли и стала их надевать. Затем куртку. Буркнула, что мне пора идти. Вот тут-то он и принялся хлестать меня своим медленным раскатистым голосом: Ты ведь такая возвышенная! Ждёшь со своими тепличными недоделанными друзьями прозрения в пальмовом аду? Так вот что я тебе скажу. Мне нравится моя работа в этом городе, нравится сидеть в кабинете с утра до ночи, и битвы умов нравятся, и борьба за деньги и престижные вещи, и можешь считать меня полным психом. Мне нравится то, что я делаю по одной причине: я делаю только то, что мне нравится. Он продолжал прицеливаться и палить: Да иди ты к чёрту. Ты со своим взглядом сверху вниз. Все мы декоративные собачонки, только случилось так, что я знаю, кто меня ласкает. Но учти – чем больше людей вроде тебя выходят из игры, тем легче победить людям вроде меня. Потом, ни с того ни с сего, он спросил, знаю ли я, как умру.

Сволочи ходят в костюмах, стервы – в чулках. Все хотят остаться анонимными. Люди перевозят мешки добра; псы у амбаров – злые! И по коридорам ходят такие псы в костюмах, что надо всё время самому рычать, чтобы тебя не съели по ошибке. Эта реальность концентрационных лагерей, это согласованное движение по кругу пытающих и пытаемых, эта утрата человеческого облика предвещают будущие возможности, которые грозят гибелью всему... Конечно, я говорю сейчас о мире больших городов, о мире мужчин и женщин, из которых машина времени выжала все соки до последней капли; я говорю о жертвах современного прогресса, о той гряде костей и галстучных запонок, которые художнику так трудно облепить мясом.

Хоть раз в сутки перестаньте воевать со всем миром. Скверно испытывать неприязнь к другим людям, независимо оттого, есть ли у вас для этого серьезные основания или они раздражают вас одним своим видом. И, конечно, нельзя допускать, чтобы такие чувства сохранялись после исчезновения повода. Напряжение нервной системы обойдется вам слишком дорого.

Будьте милосердны, – сказал он простым, тихим, человеческим голосом. Но, боже мой, не безумие ли надеяться на жалость здесь! Иначе нельзя, такое уж время, когда милосердие оборачивается жестокостью, и только в жестокости заключено истинное милосердие. Закон беспощаден, но мудр. Никого нельзя зря бить... бьют для порядку. Никто не хочет быть злым сознательно. Люди, как правило, не злы, если не злить их. Хорош белый свет – одно только не хорошо: мы. Не бывает плохих времён, а бывают только плохие люди. Вот мы, люди, из боязни друг друга строим государства, окружаем себя полицейскими, солдатами, общественным мнением... Сколько это разного народа на земле распоряжается... и всякими страхами друг дружку страшат, а всё... Ненавижу цинизм за его общедоступность. Эхе-хе, господа люди, господа люди... Впервые за столько лет – нелепое желание заплакать. Эти беспричинно навёртывающиеся на глаза слёзы пришли издалека.

А ты говоришь – народ, тут просто кто на ком сел верхом. Да такие бесстыжие. Один тебя обидит, другой обманет, а третий просто посмеётся над тобой. Ибо люди жестоки, насколько им за это платят, халатны, продажны, ленивы и т.д. Противно и противно. Неужели ты думаешь, что возможен какой-либо поступок, о котором бы не судили вкривь и вкось? Хитрые бумаги, хитрящие люди и обманчивые вещи... И на очередь за правдой тратим жизнь. Стоит мне поговорить с человеком полчаса – и я о нем составлю беспринципную резимю. Никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно. Презирающих тебя сам встречай презрением. Кому сделано зло – оплатит тем же.

Все началось с того, что мне сперва шепнули, что начальник лагеря, с охоты приехав, отказался отпустить меня, собирается с кем-то проконсультироваться, звонить куда-то и ждать приказа, а решение выездного суда хочет опротестовать. После вывесили списки тех, кого суд освободил и кто на днях уходит по этапу работать на назначенные стройки. Меня там не было. А потом три этапа ушли почти один за другим, и ясно стало, что меня тормознули прочно, что годами отмерять мне срок, а не днями, как я начал надеяться после суда. Отчаяние и тоска, вла-

девшие мной, были чем-то странно знакомы, и забавно, что усилия вспомнить, откуда памятно мне это острое чувство безнадежности, усилия эти развеивали меня и облегчали. Вспомнить я, однако, не мог. Не было в моей жизни такого острого сочетания несправедливости, поражения, сокрушенных надежд (как они вспыхнули, мерзавки), бессилия придумать что-либо и что-нибудь предпринять. Не было. Потому что после ареста было другое ощущение: схвачен! Как в плену. И все. Словно ожидал заранее. Нет, не было такого прежде.

Однако было. Просто гораздо позже. И не мог я это вспомнить никак, потому что связано это оказалось не с реальностями моей жизни, а со сном одним в тюремной камере. До краев был наполнен этот сон весенним воздухом и весенним светом. В эти воздух и свет раннего, но солнечного апреля вышли из моей квартиры вместе со мной (все цветное было, четкое, звучащее – реальность полная) трое или четверо людей – следователи и конвой, недавно привезшие меня из тюрьмы домой почему-то (а во сне понимал даже, что надо), чтобы снова сделать обыск. И мы все стоим, окунувшись в это весеннее благоденствие, а в метре от меня мой маленький сын пускает кораблик из спичечного коробка в бурно лопочущем ручье. И я вижу, как он в азарте и ажиотаже («моя кровь» – думаю я с умилением и любовью) шлепает в своих ботиночках прямо по ручью и уже промок почти до колен, а забрызган много выше. Я протягиваю к нему руку, говорю что-то воспитательное, проверяю, не очень ли вспотел, глажу по мягким волосенкам, а когда поднимаю голову – моего конвоя нет. Ни следователей, ни сопровождения, и уже машина их скрылась за поворотом улицы. И тогда в это чувство воздуха и света вдруг вплелось такое ощущение свободы, что никак я не мог не задохнуться от прихлынувшего к горлу счастья и проснулся на этом пике сна и радости. В очень грязной, потому что очень перенаселенной, в очень душной камере тюрьмы. И вот здесь они пришли ко мне, те отчаяние и тоска, что сегодня показались знакомыми.

Мы полагаем, что участвуем в разговоре для того, чтобы получить информацию о других людях; в действительности же мы предпочитаем говорить, а не слушать. Если бы мы делали все возможное, чтобы сформировать представление о том, каков мир на самом деле, то мы бы никогда сознательно не расходились во взглядах, однако в реальной жизни мы все время противоречим друг другу.

Проследи за тем, что происходит во время человеческого общения. Зачем человек открывает рот? – Главная мысль, которую человек пытается донести до других, заключается в том, что он имеет доступ к гораздо более престижному потреблению, чем про него могли подумать. Одновременно с этим он старается объяснить окружающим, что их тип потребления гораздо менее престижен, чем они имели наивность думать. Этому подчинены все социальные маневры. Больше того, только эти вопросы вызывают у людей стойкие эмоции. Меняться будет только конкретный тип потребления, о котором пойдет речь. Это может быть потребление вещей, впечатлений, культурных объектов, книг, концепций, состояний ума и так далее... Мама говорила мне, что человеку для жизни нужно совсем мало денег. Все остальное ему нужно только для хвастовства.

«При жизни этот его страх потери своего добра подобен страху детей, которые, набрав полный подол камешков, вообразили себя обладателями богатства и трясутся над ними. Если взять у ребенка один такой камешек, он начинает плакать, если вернуть его обратно, то начинает радоваться. Поскольку у детей еще не сформировались знания о положении вещей, потому их легко как рассмешить, так и заставить плакать. Вот и глупец, считающий себя вечным обладателем земных преходящих богатств, трясетя над ними, подобно ребенку!».

А здесь мыши сгрызут твою партию и все твои лозунги и все попытки договориться – ничто. Здесь тебя с недоумением спрашивают: «С кем ты договорился?» Примерно как родители спрашивают пятилетнего ребенка, который поменял велосипед на камушек: «Что? Что ты сказал тому мальчику? Какую клятву? Пойдем-ка к его родителям!» И выясняется, что твои слова ничего не стоят, и договоренности твои ничего не стоят, и пугаешь ты только себя, и

чем сильнее хмуришься, тем больше людям кажется, что ты всего лишь пытаешься пукнуть. И сначала тебя жалко, а потом уже даже неинтересно.

Если вы хотите лишиться последних иллюзий относительно человеческой природы, вам нужно сделать одну-единственную вещь – быстро заработать большую сумму денег; вы тут же увидите, как к вам слетается стая лицемерных стервятников. Но чтобы с ваших глаз спала пелена, важно именно заработать эту сумму: настоящие богачи – те, кто богат с рождения и всю жизнь прожил в роскоши, – видимо, обладают иммунитетом против таких вещей. Они как будто унаследовали вместе с богатством нечто вроде бессознательного, врождённого цинизма, изначальное знание того, что почти все, с кем им придётся иметь дело, будут преследовать одну цель – всеми правдами и неправдами вытрясти из них деньги; поэтому они ведут себя осмотрительно и, как правило, сохраняют капитал в неприкосновенности. Но для тех, кто родился бедняком, подобная ситуация гораздо опаснее; в конце концов, я сам достаточно большой подлец и циник, чтобы понимать, чего от меня хотят, и чаще всего мне удавалось вывернуться из расставленных ловушек; зато друзей, понятно, у меня не осталось.

Общество как система объективно заинтересовано в том, чтобы каждый человек выполнял общественно значимые функции, т.е. способствовал социальному прогрессу. Отталкиваясь от аристотелевского понимания ценности сообщества, Макинтайр исследует условия персональной самоидентификации и приходит к выводу, что индивидуальная жизнь переживается как удавшаяся только в том случае, если она может быть представлена как повествование. Нарративная форма организации человеческой жизни требует изображения поисков «блага», в которых отдельные эпизоды могут пониматься как страдания, искушения, опасности и отклонения. Невозможность рассказать о своей жизни в определенных идеологических схемах, связана обычно с полным страданий переживанием экзистенциальной бессмыслицы, которая может усиливаться вплоть до самоубийства.

Боязливое ожидание и жадное использование минуты пробуждают все трусливые и эгоистические склонности души. Тогда как действительная нужда способна улучшать и согревать людей. Интересная тенденция: чем нас больше, тем более мы чужды друг другу. А, может, просто мы стали честнее? не закрываем глаза на то, что существовало во все времена? Правда, трусы всегда любопытны. Поразительно всё-таки, до чего нам мерзки люди, которых мы собираемся просить об одолжении!

Во-первых, человек очень редко спрашивает себя: «Чего я хочу?», предпочитая этого как бы не знать. На всякий случай имеется дежурный перечень моральных и материальных благ, какое-нибудь беспорядочное перечисление. Но если всерьез задуматься над каждой из перечисленных ценностей, будь то отдельная квартира, любовь женщины, редкая марка для коллекции; если спросить себя: хочу я именно этого или я этим хочу чего-то иного, – то, пожалуй, ответ найдется не сразу, да и неизвестно, найдется ли вообще...

Забвение – (по Мартину Хайдеггеру) вид существования человека, состоящий в постоянно предпринимаемых попытках ухода от груза ответственности за существование путем погружения в будничные дела, попытки утешить себя с помощью этих дел, удалиться от самого себя. Таким образом, повседневность существования состоит из озабоченности (осмотрительности), общей заботы (заботы, совместной с другими) и забвения.

Те, кто уверовал в собственную правоту – а только они и сохраняются в памяти человечества, – которого придерживается самое недогматическое существо на свете: публичная девка. Отрешенная от всего и всему открытая; приноравливающаяся к настроению и мыслям клиента; меняющая всякий раз манеру говорить и выражение лица; готовая казаться печальной либо веселой, оставаясь равнодушной; расточающая продажные вздохи; откликающаяся на шалости своего верхнего соседа просвещенно-лживым взглядом, она предлагает уму такую модель поведения, которая может поспорить с моделью поведения мудрецов. Жить без убеждений по отношению к мужчинам и к самой себе – таков великий урок проституции, бродячей

академии трезвости ума, столь же маргинальной по отношению к обществу, как и философия. «Всему, что я знаю, я обучился в школе продажных девок», – должен был бы воскликнуть мыслитель, который все принимает и от всего отказывается, который, следуя их примеру, стал специалистом по утомленной улыбке, ведь люди для него – это всего лишь клиенты, а тротуары мира – рынок, где он продает свою горечь, подобно тому как его товарки продают свое тело. Если бы в проституции не была заложена здоровая основа, мир бы ею не болел.

Недаром же говорят, что лучшие настоятельницы женских монастырей – бывшие проститутки. Они, ведя разгульный, развратный образ жизни, компенсаторно накапливают в себе потенциал, позволяющий им охотно заниматься нравственным воспитанием молодежи.

Я обнаружил в себе столько же зла, сколько и во всех остальных людях, но я ненавижу действие – мать всех пороков – и потому никому не причинял страданий. Не будучи ни агрессивным, ни алчным, ни энергичным и наглым настолько, чтобы противостоять другим, я представляю сему миру быть таким, каким он был до меня. Мщение предполагает ежесекундную бдительность и дисциплину сознания – дорогостоящее постоянство, тогда как безразличие прощения и презрения делает времяпрепровождение приятным и пустым. Любая мораль означает опасность для доброты; спасает последнюю только беспечность. Остановив свой выбор на флегматичности идиота и апатии ангела, я отстранился от поступков, а поскольку доброта не совместима с жизнью, я разложился, чтобы стать добрым.

Многие дети выражают или по крайней мере изображают протест, а мне было хоть бы что. Я философствовал с ползунков. Из принципа настраивал себя против жизни. Из какого же принципа? Из принципа тщетности. Все вокруг боролись. Я же никогда и не пытался. А если создавал такую видимость, то лишь для того, чтобы кому-нибудь угодить, но в глубине души и не думал рыпаться. Если вы мне растолкуете почему – я отвергну ваши объяснения, поскольку рожден упрямым, и это неизменно.

Если бы я никогда не занимался разгадыванием непоправимого... Дрожь нам удается без большого труда, но умение управлять собственной дрожью – это уже искусство, что подтверждает история всех бунтов. А самой обыкновенной прописной истины, согласно которой все наши беды начинаются именно тогда, когда мы обнаруживаем вдруг возможность что-то улучшить, – они признавать не желают. Между тем ненависть равнозначна упреку, который мы не осмеливаемся высказать себе, равнозначна нетерпимости по отношению к нашему идеалу, воплощенному в другом человеке. Все разновидности таланта, как правило, бывают связаны с некоторой бесцеремонностью. Однако при всем при этом нет ничего плодотворнее, чем сохраненный секрет. Он нас мучает, гложет нас, угрожает нам.

Телефонный звонок прерывает мои размышления, которые я все равно не довел бы до конца. Люди как вши – они забираются под кожу и остаются там. Вы чешетесь и чешетесь – до крови, но вам никогда не избавиться от этих вшей. Куда бы я ни сунулся, везде люди, делающие ералаш из своей жизни. Жизнь без настоящего краха, без таинственных или подозрительных провалов для нас мало чего стоит. Спроси, хорош ли ураган, сметающий все на пути? Спроси, хорош ли скорый поезд, который оглушает свистом патриархальные деревни? Я запутался в словах, как другие – в делах. Я жажду новых аварий, новых потрясающих несчастий и чудовищных неудач.

Глава 12. Деньги, люди и классовый подход

То, что новые французские философы и пожилые юноши из московских кружков именовали «постмодернизмом», было придумано единственно ради того, чтобы революции больше никогда не случались, чтобы никакая идея и никакое намерение не овладели человеком всерьез, чтобы страсть и пафос не беспокоили больше общество. Общество Запада хотело продлить как можно дольше, а лучше бы навсегда, блаженное состояние покоя и гарантированного отдыха, и для этого родилось движение «постмодернизм».

И вот, похерив амбициозные планы, ты поступал по сказанному языком твоим – терпел и трудился. Дело происходило в пределах от а до я и от там до сям.

Он как машина, выбрасывающая миллионы газет каждый день, газет, заголовки которых кричат о катастрофах, революциях, убийствах, взрывах и авариях. Но он уже ничего не чувствует. Если кто-нибудь не выключит мотор, он никогда не узнает, что такое смерть, – нельзя умереть, если твое тело украдено. Кто-то должен запустить руку в машину и отрегулировать ее, чтобы шестеренки стали на место. Кто-то, кто сделает это, не надеясь на награду.

Ну, а учение как подвигается? Делаете вы успехи в вашем истинно человеколюбивом искусстве? – Плетусь, ученье моё давит мне плечи.

Прайс-лист, отсортированный по убыванию смысла. Если денег в кармане нет – никто не скажет тебе "Привет!" – дразнила нищета (улю-лю). «Ёжик голодный по лесу идёт, цветов не собирает, песен не поёт». Кто рано встает – тот далеко от работы живет. Но если это не удастся, тем беспощаднее к ним бедность, так как им неведомы возможности культуры, позволяющей жить в нищете и скрывать ее. Быть бедным – просто скандал, поэтому нищету старательно скрывают. Неизвестно, что хуже – признаться в бедности или скрыть ее, получать помощь от государства или продолжать терпеть лишения. Цифры – вот они, перед нами. Но неизвестно, где скрывающиеся за ними люди. Остаются следы. Отключенный телефон. Неожиданный выход из клуба. Обратная сторона – превращение внешних причин во внутреннюю вину, в системную проблему личной несостоятельности. Многие из этих проблем привносят в семью не сами люди, хотя им нередко так кажется, и они укоряют себя в этом.

Ложь, которой проникнуты буржуазные круги, причастные к греху эксплуатации человека человеком и превращения человеческой энергии в деньги как иррациональной отчуждённой самоцели. Таковы гримасы буржуазной демократии, мадам. Деньги и есть остающаяся от людей "нефть", та форма, в которой их вложенная в труд жизненная сила существует после смерти. Овеществлённый человек выставляет напоказ доказательство интимной связи с товаром. Чахнувший над золотом Кощей накапливает товарные индульгенции – славный знак его реального присутствия среди верных сторонников, показатель настоящего мужчины, того, что он грызётся за своё место в стае, а не скулит, поджав хвост. Нет человека на земле, который бы ни разу не держал в руках денег, разрази их. Однако, шелест банкнот – оценить могут только те, кто помнит, что завтра, в лучшем случае – послезавтра всё это кончится. Днём – нажива, по субботам соришь деньгами. Жизнь свелась на постоянную борьбу из-за денег. В любую эпоху большинство людей заняты добыванием хлеба насущного, что съедается, а не высокими темами, о которых пишут историки. Неважно, что вам говорят – вам говорят не всю правду. Неважно, о чем говорят – речь всегда идет о деньгах. Самое большое будущее у денег.

То исключительное и, в сущности, редкое явление, что некоторые люди озабочены не самую жизнью, а добыванием средств к жизни, становится в самую душу цивилизации, и она становится совершенно сумасшедшим спортом добывания средств к жизни – для чего, чёрт знает. Попросту говоря, за добыванием средств к жизни забывается цель жизни, и это запрограммировано на уровне общественного устройства. Если одно и то же обозначающее кормить смешивает по смыслу кормление и правление, а стол – это престол, то у историка есть основание думать, что язык наводит его на след.

Сначала у них была формула «бабло побеждает зло», а потом они уже говорили: «да, бабло побеждает зло, но фуфлю побеждает бабло». Но – какое счастье! – жить, чтоб поводки не тёрли и ошейник не давил. Зачем всё сводить к меркантильности, неужели нельзя писать о чувствах, основополагающей линией которых не служат купюры? – А того! Все эти «Как выйти замуж за миллионера» – полная туфта. Фуфлю-с! Российским дамочкам нужны не только бабки! У них – тужур, лямур, мать их – душа ещё раскрывается, а потом не сворачивается долго, как кровь. Буржуазная жила в голове и погоня за деньгами меня испортит? Пускай же все

мысли в потоке вашего сознания и все иллюзорные материальные объекты вокруг вас приносят живым существам только радость и оберегают их от зла!

И снова вечер, непредвиденно пустой, холодный, механический вечер, в котором нет покоя, нет убежища, нет близости. Безмерное, зябкое одиночество в тысяченой толпе, холодный, напрасный огонь электрической рекламы, подавляющая никчемность женского совершенства, когда совершенство перешло границу пола и обратилось в знак минус, вредя само себе, будто электричество, будто безучастная энергия самцов, будто планеты, которые нельзя увидеть, будто мирные программы, будто любовь по радио. Иметь деньги в кармане в гуще белой, безучастной энергии, бесцельно бродить, бесплодно слоняться в сиянии набеленных улиц, рассуждать вслух в полном одиночестве на грани помешательства, быть в городе, великом городе, в последний раз быть в величайшем городе мира и не чувствовать ни единой его части, – означает самому стать городом, миром мертвого камня, напрасного света, невнятного движения, неуловимого и неисчислимого, тайного совершенства всего, что есть минус. Гулять с деньгами в ночной толпе, быть под защитой денег, успокоенным деньгами, отупевшим от денег, сама толпа есть деньги, дыхание денег, нет ни единого предмета, который не деньги, деньги, деньги всюду и этого мало, а потом нет денег или мало денег, или меньше денег, или больше денег – но деньги, всегда деньги, и если вы имеете деньги, или не имеете денег – лишь деньги принимаются в расчет, и деньги делают деньги. Но что заставляет деньги делать деньги?

Деньги являются главным регулятором всей основной жизнедеятельности людей современного общества, основным побудительным мотивом для них, целью, страстью, заботой и контролером. В условиях современной цивилизации деньги объективно стали необходимым условием, средством и формой жизнедеятельности индивидуума (деньги объективно в современных условиях являются всем для человека, если главная ценность – комфортность быта и бытия, материальное благополучие). Поскольку значимость денег, их экзистенциальный статус для современного человека именно таков, то и основной целью его деятельности, всей его жизни, во многих ее проявлениях, являются, безусловно, деньги. Если же цель, которой являются деньги, выступает действительно Главной целью, неким действительно высшим идеалом (выше ведь ничего нет) в сознании современного человека, то, соответственно, и средств для своего достижения подобная цель оправдывает многие... Как, например, справедливо признает объединенная комиссия по вопросам преступности легислатуры Нью-Йорка, «организованная преступность является логичным продолжением системы свободного предпринимательства».

Мне не нравятся в Америке люди и отношения между ними. Мне не нравится необходимость постоянной, непрерывной, почти маниакальной заботы о завтрашнем дне. Это возведено там в религию. Если ты сегодня не позаботишься о завтрашнем дне, то завтрашний день тебя за это накажет... Там огромное количество условностей, которые придумал для себя средний класс. Обязательная смена машины со сменой работы. Хочешь или нет, но в пятницу ты должен одеться легкомысленнее, чем в обычные дни. Ты должен улыбаться в любой ситуации, вне зависимости от настроения. Их так много, этих условностей, и они такие мелкие... но когда они складываются в систему, становится очень тяжело жить. Частное предпринимательство свелось к потреблению и уничтожению среды, титанизм порождает титанизм.

И что делать? Если б у нас было несколько денег, мы бы пошли гулять. Нам нужно денег для гулянья. На выгул нас. Мы помолчали, раздумывая. Между тем мелкий дождь перешел в проливной, и я обрадовался. Лечь спать в такую рань я не мог. Ускорив шаг, я свернул за угол и пошел обратно. Вдруг ко мне подходит женщина и спрашивает, который час. Я отвечаю ей, что у меня нет часов. И тут она выпаливает: "Милостивый государь, не говорите ли вы случайно по-русски?" Я кивнул. Дождь уже лил вовсю. "Не будете ли вы так добры зайти со мной в кафе? Идет дождь, а у меня нет денег. И простите меня, ради бога, но у вас такое доброе лицо... Произнеся все это, она улыбается странной, полубезумной улыбкой. "Я одна на свете... Может

быть, вы сможете дать мне совет... Боже мой, это так ужасно – не иметь денег..." Как хорошо, однако, быть иногда богатым и получать такие совершенно новые впечатления, подумал я. И какое-то время они были вполне счастливы – на свой особый лад: их не покидала животная самоуверенность, которую внушают людям деньги.

Я даже зашел в контору по найму и сразу же вышел, как герой Достоевского. Когда ты молод, то работаешь, поскольку считаешь, что тебе нужны деньги; когда ты стар, то уже знаешь, что тебе не нужно ничего, кроме смерти, поэтому зачем работать? А кроме этого, "работа" всегда означает работу за кого-то другого, толкаешь тару за другого человека, недоумевая, почему это он сам свою тару не толкает?

И он хочет написать книгу, но проклятая работа отнимает все его время. Ему хочется занять чем-нибудь свой ум. Она высасывает меня, эта е***ная работа. Я хочу писать о своей жизни, о том, что я думаю... хочу вытрясти все дерьмо из своего нутра. «Скажи этим сукиным детям что хочешь... Скажи, что я умираю...»

Владыки угрюмы, рабы унылы. Обсуждают господ. Господа обсуждают рабство. Всякий человек ищет над собой власти. Удовольствия богача покупаются слезами бедняка, ибо не слышано, чтобы владетели смущались гибелью своего невольника. "Когда Адам пахал, а Ева пряла – кто тогда был джентльменом?" То, что скажет обременённый и утомлённый необходимостью, всегда некстати. Простые радости бедняков. У раба попросить не стыдно. Когда недовольный своим положением раб как бы в шутку берёт своего господина под локоток, он даёт ему почувствовать ту силу, которую может иметь его бунт. Ненависть без протеста, ничем не обусловленная. Существуют вещи, которые можно осуществить только насильем. Взбунтовавшиеся рабы сжигают своих хозяев.

Подмечая, сколько в разных странах разбитых витрин, сломанных лифтов, оборванных телефонов, разломанных вагонов, опрокинутых урн, испаранных стен, разбитых памятников и статуй, опоганенных кладбищ и храмов, я моментально составляю себе представление о том, велико ли в обществе "дно" и сносно ли оказавшиеся на нем люди себя чувствуют. Ведь для этолога акты вандализма – то же, что клевки петуха в землю – переадресованная агрессия. Демагоги прекрасно знают, как легко направить агрессивность дна на бунт, разрушительный и кровавый. Много труднее помочь таким людям вновь почувствовать себя полноценными существами. Давно известно, что самое эффективное лекарство – ощущение личной свободы и удовлетворения инстинктивных потребностей иметь свой кусочек земли, свой дом, свою семью. В способности удерживать внутри или отпускать в зависимости от своего желания и внешних обстоятельств продукты жизнедеятельности организма впервые реализуется автономная или, точнее, свободная воля ребенка. То есть воля, предполагающая наличие возможности реального, осознанного выбора. Но возможность выбирать и принимать решение проявляется не только в том, что касается горшка. Это очень деликатная ситуация, и в ней, как, пожалуй, ни в какой другой, многое зависит от того, насколько на предыдущих этапах развития у ребенка сформированы базовое доверие к миру, автономия и инициатива, как вообще строятся отношения в семье.

Если биографии первых трех стандартны (принят на службу, определено жалованье), то этого нельзя сказать о двух последних. В силу этого, уделим и мы им чуть больше внимания.

Татарва и туда и сюда мыслями рассеялись и не знают: согласиться на это или нет? Думают, думают, словно золото копают, а, видно, чего-то боятся. Переговоры зашли в тупик. Тогда в самый напряженный момент Бепеня Трупиердин предложил дьяку: «Вели принести от себя из стану вина и питья, хочу я с ближними своими людьми напиться, чтобы сердитые слова запить и впредь их не помнить».

Из Татишевой, 29 сентября 1773 г., Пугачев пошел на Чернореченскую. В сей крепости оставалось несколько старых солдат при капитане Нечаеве, заступившем на место коменданта, майора Крузе, который скрылся в Оренбург. Они сдались без сопротивления. Пугачев повесил

капитана по жалобе крепостной его девки. Потом привели бригадира. Пугачев, не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и его. Но взятые в плен солдаты стали за него просить.

– Подумай, – говорит, – ты, какой я человек? Я – говорит, – самим богом в один год с императором создан и ему ровесник.

«Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня». «Меня притащили под виселицу. "Не бось, не бось", – повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить». Оно, кстати, согласно его взглядам, есть в первую очередь "расположение души к живейшему принятию впечатлений". Расположение – к принятию. Приятельство, приятность. Расположенность к первому встречному. Ко всему, что Господь ниспошлет. Ниспошлет расположенность – благосклонность – покой – и гостеприимство всей этой тишины – вдохновение... «Коли он был до вас добр, – сказал самозванец, – то я и его прощаю».

А Салават-батыр сейчас жив? – Неизвестно... Тридцать лет прошло, срок серьезный. А вообще-то он молодым был, когда воевал с Пугачом против царицы Катерины, – вполне мог уцелеть и в ссылке.

– Нет-с, домой хочется... тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи... в одну сторону и в другую – все одинаково... Знойный вид, жестокий; простор – краю нет; травы буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет... Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

Изолировав Башкирию от южных кочевых соседей, Оренбургская экспедиция избавила край от набегов казахов и лишила их возможности объединяться с башкирами против дальнейшего продвижения России. Строительство многочисленных крепостей в регионе в известной степени стабилизировала внутривосточную ситуацию в нем и положила начало активному заселению Южного Урала русскими, продолжавшемуся очень высокими темпами вплоть до 80-х гг. XIX в.

Колонизировав многочисленные земли, Россия применяла колониальные режимы непрямого правления – принудительные, коммунитарные и экзотизирующие – к собственному населению. "Богатая насилием и бедная капиталом", империя осваивала и защищала эти огромные земли, давно или недавно приобретенные по причинам, о которых помнили – или уже не помнили? – одни только историки.

Согласно теории Жирара, если общество не может достичь мира с помощью закона и суда, оно приводит в действие древний механизм жертвоприношения, понимаемого как коллективное участие в акте насилия. Исторические общества от человеческого жертвоприношения перешли к животному, а затем от реальной жертвы – к символической. Что происходит в светском обществе, где религиозные обряды значат все меньше, но судебная система остается слаборазвитой? В таком обществе можно ожидать неконтролируемый рост насилия и его символических субститутов. А может быть, сам роман является механизмом замещения жертвоприношения? Здесь ради коллектива умирают не люди, а их репрезентации. Наряду с драмой и оперой, где работали сходные механизмы, в XIX веке роман был одним из средств жертвоприношения. В следующем столетии эта роль перешла к кино. Конечно, не в каждом романе в конце появляется труп, но таких романов много. А у трупа всегда есть пол.

Отношения между героями построены по модели Книги Бытия. Человек Культуры, потомок согрешившего Адама, спорит с Человеком из Народа за власть над русской Евой, бесклассовым, но национальным объектом желания. Гендерная структура пересекается с классовой, и обе они заключены внутри национального пространства, которое символизирует Русская Кра-

савица. Иногда она пассивна, но чаще ей предоставлено право делать выбор между соперниками-мужчинами. Пол и класс жертвы – исторические переменные, ключевые элементы в развитии сюжета.

Пушкин сформировал триангулярную конструкцию в «Капитанской дочке»: восставший казак Пугачев – Человек из Народа, молодой офицер императорской армии Гринев – Человек Культуры, и Машенька – Русская Красавица. В народе скрыты ужасающие глубины, тайная сила и невыразимая мудрость; за государством лишь дурная дисциплина и чуждая рациональность. Казак-старовер и романтический бунтовщик, Пугачев пугает и чарует всех, даже Гринева, в остальном верного империи. История разыгрывается в большом имперском пространстве между Санкт-Петербургом и Оренбургом – столицей, расположенной на периферии, и далекой провинцией в географическом центре империи.

«Всеавгустейшая государыня, премудрая и непобедимая императрица! Дражайшее нам и потомкам нашим неоцененное слово, сей приятный и для позднейшего рода дворянства фимиам, сей глас радости, вечной славы нашей и вечного нашего веселия, в высочайшем вашего императорского величества к нам благоволения слыша, кто бы не получил из нас восторга в душу свою, чье бы не возыграло сердце о толиком благополучии своем? Облиста нас в скорби нашей и печали свет милосердия твоего! А потому, если бы кто теперь из нас не радовался, тот бы поистине еще худо изъясил усердие свое отечеству и вашему императорскому величеству, даянием некоторой части имени своего на составление корпуса нашего. И бысть угодна наша жертва пред тобою; се счастье наше, се восхищение душ наших!» С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивая государыня, Вашим усерднейшим и покорнейшим слугой.

«Великий государь, царь наш и над цари царь, самодержавный повелитель, достойный император. Как чему повелит быть, так и подобает тому быть неизменно и нимало ни направо, ни налево неподвижно. Яко Бог всем светом владеет, тако и царь в своём владении имеет власть». Российского войска содержатель, всех меньших и больших уволитель и милосердой, сопротивников казнитель, больших почитатель, меньших почитатель же, скудных обогатитель, и прочая и прочая...

Солдаты гогочут во время перемирия. И чтобы никогда слуги государыни не будили, а государыня бы слуг будила. Так, земной правитель из живого Бога, родственника или потомка богов, превращался в его наместника, представителя и исполнителя божьей воли в земных делах. Бог правит всем – он пантократор. Император вершит земные дела – он космократор. (Понятно при этом, что древние более почитаемы, чем новые).

Глава 13. Страна Россия

...Опять томили ненавистью к этой проклятой стране, где восемь месяцев метели, а четыре – дожди. Такая нелепая, неуклюжая страна эта наша Россия. Так дико, замкнуто, бесцветно и безнадежно здесь всё.

Его несравненная, за морями нашумевшая, знаменитая родительница, мученица, упрямец, сумасбродка, шалая, боготворимая, с вечно величественными и гибельными выходками, которых никогда нельзя предвидеть! Народ, который смелостью и мужеством снискал господство над девятою частию мира. Русский человек только и делает, что искушает Господа каким-нибудь рацпредложением. То один вариант предложит, то другой по части устройства мира. Богу хлопотно с русским человеком.

«Российский старожил давно заметил вострую особенность нашего бытования: каким бы мерзостным не казался текущий режим, следующий за ним будет таким, что заставит вспоминать предыдущий с томительной ностальгией. А ностальгии хорошо предаваться под водочку, закусочку и все то, что обыщется промеж». «Было блядство с надеждою, таперича

– безнадежное блядство», – говаривал покойный Юрочка. И нет в государстве этом Геракла, чтобы вычистил все. Похоже, что уже и не будет. И пусть им.

Несчастливый этот город, дрянной городишка. Уеду отсюда, пока ещё поезда ходят. Из России всегда почему-то бегут весной. Я вообще мало знаю и не понимаю Россию. Мне кажется – это страна людей, которые не нужны никому и сами себе не нужны.

Однако к чему ведет незнание своего места и своего дела? К.П. Победоносцев одной из основных «болезней нашего времени» называет хроническое недовольство и раздражение «против судьбы своей, против правительства, против общественных порядков, против других людей, против всех и всего, кроме себя самих». Победоносцев объясняет этот массовый негативизм тем, что люди обманываются в ожиданиях: «люди вырастают в чрезмерных ожиданиях, происходящих от чрезмерного самолюбия и чрезмерных, искусственно образовавшихся, потребностей». Автор, останавливаясь на причинности подобных явлений, указывает, что «прежде было больше довольных и спокойных людей, потому что люди не столько ожидали от жизни, сколько довольствовались малой, средней мерой, не спешили расширять судьбу свою и её горизонты. Их сдерживало свое место, свое дело и сознание долга, соединенного с местом и делом». В итоге, люди, которые считают, что они в ответе за все и за всех, не отвечают ни за что и ни за кого.

Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается.

Империи всегда питали страсть к картам, которые служили моделью для будущих завоеваний так же, как и изображением уже завоеванных территорий. Сверься с картой страны. Какое прошлое, такое и настоящее. И такое же будущее. Что за испытание для моей юной спеси! "Как можно быть россиянином?" – это был вопрос, ответ на который таил в себе для меня ежесекундные унижения. Ненавидя своих собратьев, собственную страну, ее крестьян, существующих вне времени, влюбленных в свою косность и как бы сияющих тупоумием, я стыдился того, что происхожу от них, отрекался от них, отказывался от их неполноценной вечности, от их непреложных, словно у окаменевших личинок, истин, от их геологической мечтательности.

Наполняя многие страницы похвалами европейцам, о русских он писал с аристократическим безразличием, не вдаваясь в детали: «Глупость и крайнее безрассудство нашего подлого народа были нам слишком известны».

В Москве в 1927 году Вальтер Беньямин с удивлением обнаружил, что Россия не знает романтического образа Востока. «Здесь нашло себе почву все, что есть в мире», говорили ему московские друзья, и Восток и Запад; «для нас нет ничего экзотичного». Более того, эти марксисты утверждали, что «экзотизм – это контрреволюционная идеология колониальной страны». Но, покончив с идеей востока, московские интеллектуалы вновь вернули ее к жизни, придав ей советский размах. «Самым интересным предметом» для новых московских фильмов стали российские крестьяне, которые казались их авторам очень непохожими на них самих: «По способу восприятия крестьянин резко отличается от городских масс». Когда крестьянин смотрит фильм, говорили Беньямину его московские друзья, он не способен следить за развитием «двух нитей повествования одновременно, как это бывает в кинематографе. Его восприятие доступна только одна серия образов, которые нужно показывать в хронологической последовательности». Поскольку крестьяне не могут понять темы и жанры, «взятые из буржуазной жизни», им нужно совсем новое искусство. Создать такое искусство – «один из самых грандиозных экспериментов над массовой психологией, которые проводятся в гигантской лаборатории, какой стала Россия», – писал Беньямин. Несмотря на свои симпатии к новому искусству и новой России, Беньямин не обольщался их успехами: «Колонизация России посредством кино дала осечку».

«В домах наших мы как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на кочевников. Мы как бы чужие для себя самих. Мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам». Правда, при таком разговоре можно скатиться в «белибердяевщину», про которую говорил остро слов Г.Г. Шпет. Но «бабство» и сусальность русской философии и литературы – это крайний вариант того же беспочвенничества, той венаходимости, от которой всегда страдала русская культура.

Приходится признать, что нам еще далеко до Европы. Недавно был по приглашению своего коллекционера во Франции, смотрел парад жандармерии. Какие лица! Достоинство, стиль. Здесь таких не сыщешь. Вырождение, вырождение! Каждый человек – это цвет, в худшем случае оттенок, побеждающий бесцветие, к которому мы уже привыкли с вами, дорогой друг... Еще лучше – белый цвет, цвет, которого нет, но который в себе заключает... Но мы должны найти способ убедить этот народ.

Мы для Запада своими руками постоянно из огня каштаны таскаем...

«Я даже думаю, что психические опасности куда страшней эпидемий и землетрясений. Средневековые эпидемии бубонной чумы или черной оспы не унесли столько жизней, сколько их унесли, например, различия во взглядах на устройство мира в 1914 г. или борьба за политические идеалы в России».

Европейский гость XVI века сформулировал дилемму, к которой до сих пор обращается русская и русистская мысль: «Трудно понять, то ли народ по своей грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя сам народ становится таким грубым, бесчувственным и жестоким». Понять это трудно, но главные вопросы политического действия – «кто виноват?» и «что делать?» – критически зависят от этого понимания.

Дилетант-востоковед и талантливый администратор, граф С.С. Уваров следовал за идеей «национальности», популярной в Европе после Наполеоновских войн, и творчески переводил ее как «народность». Россия одновременно и империя, и колония. Поздний последователь славянофилов Федор Достоевский писал в 1860 году, что нет другой столь же непонятой страны, как Россия. Даже Луна лучше изучена, утверждал он со знанием дела: он только что вернулся из сибирской каторги. Таким образом, борьба с капиталом есть одновременно борьба с империей. В семье муж «от естества» властвует над женой и детьми, и на том же основании стоит монархия: «Монарх яко отец, а подданные яко чада почитаются, каким бы порядком оное и учинилось». Даже официальный историограф Российской империи Н.М. Карамзин поддержал идею, что славяне с помощью Рюрика создали самодержавие, чтобы усмирить самих себя.

Российская армия использовала новейшие достижения артиллерии, например «секретные гаубицы», только что изобретенные графом Петром Шуваловым. Они имели необычное дуло в форме горизонтального овала и стреляли картечью веером над головами своих солдат. За раскрытие их секрета полагалась смертная казнь, но потом Фридрих захватил эти гаубицы, не нашел в них ничего ценного и выставил в Берлине на посмешище. Российская армия по-прежнему полагалась на легкую кавалерию и этнические соединения. Самим русским эта восточная конница казалась дикой и страшной. Офицер российской армии Андрей Болотов был поражен, увидев, как эти «странные», «полунагие», привычные «есть падаль лошадиную» воины вырезали население немецких деревень ради славы российской короны. Калмыкам было разрешено грабить старые прусские арсеналы. Вооруженные средневековыми саблями, в доспехах и шлемах, они должны были выглядеть смехотворно; но мало кто смеялся на этой войне. Для калмыков то были последние годы их российской службы: в 1771 году они покинули волжские степи и начали исход в Китай.

Российский генерал, войдя в Пруссию, крайне удивился, увидев делаемые казаками повсюду разорения, поджоги и грабительства, и с досадою принужден был быть свидетелем всех жестокостей и варварств, оказываемых нашими казаками и калмыками против всех воен-

ных правил... Во всех тамошних местах не видно было ничего, кроме огня и дыма; над женским полом оказываемы были наивеличайшие своевольства и оскорбления. Таковые поступки наших казаков и калмыков поистине приносили нам мало чести, ибо все европейские народы, услышав о таковых варварствах, стали и обо всей нашей армии думать, что она таковая же. Столетия спустя Гитлер в окруженном Берлине часто говорил о Фридрихе и надеялся на новое «чудо Бранденбургского дома» – чудесное спасение от советских войск. Колонизация Кенигсберга натолкнулась на молчаливое сопротивление его жителей. Убежденные в превосходстве своей культуры, они подчинялись российским оккупантам, но презирали их своим особенным тихим способом. Это еще один пример отрицательной гегемонии: российская власть над Восточной Пруссией была типично колониальной ситуацией, в которой правители прибегают к принуждению, не сумев убедить коренное население в своем праве на господство или хотя бы в своей способности управлять. Горожане ответили ранним националистическим движением, которое имело огромные последствия для европейской мысли, и после ухода колонизаторов предалась беспрецедентным размышлениям о власти, разуме и человечности. Подобный интеллектуальному взрыву, последствия которого отдаются веками спустя, этот короткий эпизод колониальной истории стал точкой входа в глобальную современность.

Паника, считает Болотов, произошла из-за угольных «согревательниц», которые «зажигательные жительницы» Кенигсберга приносили с собой в церковь и ставили на пол под юбками. Болотов запомнил еще беспокойство коллег-офицеров за российский пороховой арсенал в подвале Замковой церкви, из-за чего паника перекинулась и на русских.

В эпоху общих революций не отсидеться в хате с края; мы даже чай гоняем с блюда, кому-то на руку играя. Как показал наш опыт, стихия революционных форм борьбы под лозунгами освобождение рабочего класса приводит к тому, что как раз рабочий класс с его интересами оказывается не только по существу забытым, но и начинает подвергаться гораздо большей эксплуатации, чем до революции. Тысячу раз прав А.С. Пушкин: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят постепенно, от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений».

Князь NN, один из видных деятелей земства, предварил свои мемуары, писавшиеся в конце 1930-х годов, следующим замечанием: «Без лишней скромности я могу сказать, что вправе считать себя лицом, вполне подходящим для того, чтобы быть автором исторических мемуаров. Во-первых, я прожил долгую жизнь и много видел, во-вторых, благодаря случайным обстоятельствам, я был знаком с жизнью и бытом самых разнообразных слоев населения России, его верхов и низов, ее столиц и провинции, что было доступно весьма немногим, а в-третьих, не играя сколько-нибудь крупной роли в исторических событиях, я нередко находился в самой их гуще и был знаком почти со всеми крупными политическими и общественными деятелями своей эпохи. Главные актеры исторических драм и трагедий поневоле тенденциозны в своих мемуарах. Мои же мемуары, при всем их субъективизме, не могут быть тенденциозными просто потому, что, не совершив больших дел, я не нуждаюсь в самооправдании перед историей». Историки пишут от прошлого к настоящему, но мыслят от настоящего к прошлому. Важны, однако, детали.

Дорогие друзья! Юноши и девушки! Школьники и школьницы! Предприниматели и предпринимательницы! Пенсионеры и пенсионерки! Бюджетники и бюджетницы! Силовики и силовички! Временно работающие и временно неработающие! Стражи суверенной демократии и строители властной вертикали! Правозащитники и правонарушители! Зарегистрированные и понаехавшие! Согласные и гласные! Наши и "наши"! Господа и товарищи! Философских дел парикмахеры и философастеры. В обществе бал правит простое большинство. Большинство – это сила, но не всегда истина, что ведет к недоразумениям, амбициям, тяжбам, а в конечном итоге – к ослаблению единства сообщества. Меньшинство оказывается заложником большинства. Пока люди организуют свое сообщество на уровне процесса, они имеют возмож-

ность активно вмешиваться в свое творчество. Но как только это творчество обретает определенные формы, оно получает относительную самостоятельность, независимость от тех, кто его создал, ибо в своем развитии оно уже подчиняется своим законам, а не воле своих творцов. Зачем избирателю из большинства ходить на выборы? Он же из большинства, его воля все равно будет реализована. А из меньшинства зачем избирателю ходить на выборы? Он же из меньшинства, его воля все равно не будет учтена.

Говоря словами Альбера Камю, «протест, длившийся слишком долго и оттого застывший, стал искусственным образованием, приведшим к другому виду бесплодия. Тема проклятого поэта, родившаяся в буржуазном обществе, вылилась в предрассудок, который в конце концов стал диктовать следующий принцип: нельзя сделаться великим художником, не протестуя против своей эпохи, какова бы она ни была.

И, наконец, свобода имеет множество проявлений, но не все они оцениваются адекватно. Чаще всего это восприятие на уровне «так и должно быть». Что касается свободы как результата преодоления одной из форм отчуждения человека от собственности, власти и культуры, то эту свободу может оценить лишь тот, кто прошел дорогу от невольника до вольноотпущенника, преодолев путь заложника чужой воли. Нужно тяжело переболеть, чтобы осознать и должным образом оценить состояние здорового человека.

А мне это нравится. Работать и приносить пользу стране, где мой народ живет, который дал этому государству его загадочное название. Мне нравится, что у народа нашего болванского государства глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там. Где всё продаётся и всё покупается: глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза. Смотрят исподлобья с неутраченной заботой и мукой – вот какие глаза в мире Чистогана... Большевики истребляли цвет нации, расчищая поле для жидовских репьев да быдлярской лебеды. Вот она и дала потомство, лебеда-матушка! Ее с корнем трудненько выдернуть! Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навькате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая духовная мощь! Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий... отечество не оскудеет идиотами. – А где ты видел нормальных людей? Их, может быть, человек сто в стране осталось, и все у ФСБ под колпаком. По всему лицу земли родной, где великие дела творятся ради жалких результатов. Однако, как говорят у нас – «нет худа без добра». Угораздило же меня родиться в России с умом и талантом. Отечеству своему ничтожный слуга. «Суть просто в мужике, который пашет себе хлеба, в попе, который служит себе в обедню, и в солдате, который «провождает глазами начальство» (ну и защищает отечество; солдат – молодец). В самом деле, многие люди первоначально поступают добродетельно из страха перед начальниками, и только впоследствии, привыкнув жить добродетельно и осознав превосходство такой жизни, «прилепляются» к добродетели уже ради нее самой.

Время уклоняться от объятий с аутизмом и интроверсией, работа прочищает голову, сколько автоматизмов вот наши вечные поработители, каждое движение текстуально, мы в тексте, а выход... выход неужели только смерть; за что избрал ты плоть мою полигоном своих причуд, главное не идти на поводу, эгонаша любовь, записана на небе, интимно-прикладная, чёрно-белый союз наш, разорви платье первых достоинств, прикажи разрушить мне излишества по отношению к твоему тайному.

Москва. Зима. Снег. Мальчик играет в футбол. Вдруг звон разбитого стекла. Выбегает дворник, суровый русский дворник с метлой и гонится за мальчиком. Мальчик бежит и думает: "Зачем, зачем все это?! Зачем весь этот имидж уличного мальчишки, весь этот футбол, все эти друзья?! Зачем? Я уже сделал все уроки, почему я не сижу дома на диване и не читаю книжки своего любимого писателя Эрнеста Хемингуэя?" Гавана. Эрнест Хемингуэй дописывает очередной роман и думает: "Зачем, зачем все это?! Как все надоело, вся эта Куба, эти

бананы, этот тростник, эта жара, эти кубинцы! Почему я не в Париже, не сижу со своим другом Андре Моруа в обществе прекрасных куртизанок, попивая свой утренний аперитив и беседуя о смысле жизни?" Париж. Андре Моруа, поглаживая бедро прекрасной куртизанки и попивая свой утренний аперитив, думает: "Зачем, зачем все это?! Как мне надоел этот Париж, эти грубые французы, грязные мароканцы, тупые куртизанки, эта Эйфелева башня, с которой тебе плюют на голову! Почему я не в России, не в Москве, где холод, снег, не сижу со своим лучшим другом Андреем Платоновым и не пью чай у печурки?" Москва. Холод. Снег. Андрей Платонов. В ушанке. С метлой. Гонится за мальчиком и думает: "Догоню – убью!!!"

Еще пришло ощущение, что эта бездна дерева, бревнистость Древней Руси соотносится с духом народа и характером нашей истории по цвету и на ощупь – сочетание угловатости и круглоты, вещественность телесная, теплая, но не слишком долговечная, расслаивающаяся, выгорающая дотла, до пустого поля, и вновь растущая, как трава, по сравнению с камнем европейского средневековья наша деревянная древность ближе к живому нутру, бесформеннее и ненадежнее, мало уцелела, не заботилась о накоплении, пробелы, невыявленность замысла, всякий раз заново, пусть и на старом месте, расплывчатые черты, лишь кое-где в океане бревна вдвинуты каменными островами соборы, Иван Грозный, Нил Сорский, посреди невнятных песен, лицо довольно аморфное, неопределенное, готовое принять первый попавшийся образ, топорное и нежное вместе, мечтательное и тупое, лишенное четкости, вспомним Кавказ, чекан по металлу, очерченность гор и горцев, ястребиный нос, острие усов и бровей, острые пряности, перец, и деревянная наша еда – каша, которую не испортишь, все воспримет, усвоит, финны, греки, татары, варяги, французский жаргон, Петербург, как масло, растворяются в каше, не теряем бесформенности, не гонимся за чистотой крови, переваривая любое добро, и нос картошкой, скулы косяком, сойдет, авось, Сократ в лаптях, мудрец под простеца, и в красоте древесная стертость, твое струящееся, растекающееся под взглядом лицо, как пейзаж, сероватое дерево, на фоне жухлого неба, в древесине тяжесть и легкость, воздушность линий, волокон, душевность, непостоянство, не то что камень, и это городское гнездо, сплетенное из бревен с навозом, которым устилали дворы, подгребая, материнским тряпьем, укроешься с головкой, и мягко, тепло на той мостовой.

«И Россия – ряд пустот... Пусто общество. Пустынно, воздушно. Как старый дуб: кора, сучья – но внутри – пустоты. И вот в эти пустоты забираются инородцы; даже иностранцы забираются. Не в силе их натиска дело, а в том, что нет сопротивления им». «Россия, которую мы защищали, которую любили, ради которой «боролись с Западом» – ей остается только умереть»; «Та Россия, которой предстоит жить – мы эту Россию не будем любить. Мы ей не можем пожелать в этом «полете» никакого добра; мы ей пожелаем всякого «зла».

Можно лечь под сосной и немножко повить, или землю от скуки порыть... В России всегда можно было убить человека и вытереть руки о землю, траву и березу. В России так же жалеют человека, как трамвай жалеет человека, через которого он переехал. В России нечего кричать. Никто не услышит. В России всегда можно было легко и свободно пред тем как свихнуться пойти и стрелнуть сигарету. Что бы человек в России ни делал – его всегда жалко... Российская природа не уныла, но смутною тоской озарена, и где не окажись моя могила, пусть веет этим чувством и она.

Ходил по улицам в поисках нечаянной радости и надоел самому себе до таких высоких степеней, что захотелось мне упасть лицом в высокую траву, и плакать, и проклинать. Только травы в городе нет, кроме газонов. Он боится снова поднять глаза на звезды, потому что они шепчут одно и то же: это твоя родина.

Он, словно со стороны, видел, как в нем зарождается дурное, злое и заполняет все его существо. Он сам определял это неясное начало как ненависть, но не мог сказать: к кому, к чему эта ненависть. К режиму? Но его и нет никакого. К стране? Он не знал других стран, и

ему казалось странным ненавидеть то единственное место, которое он мог назвать своим. К каким-то людям? Но к каким людям конкретно, он ответить не мог.

– Карту Португалии мне! – кричал главный. – Крупномасштабную, с морями, с проливами!

– Там океан.

– Так давайте с океанами, черт побери! Специалистов по Португалии найдите! Быстро, бегом! Мне рассказывали на днях, что Португалия и Россия похожи. Климат дождливый, песни заунывные. Арабское иго там, татарское – тут и оба ига аккурат по двести лет. Все сходится. Редкое совпадение – и никто, ну совершенно никто, про это ни слова. Заговор молчания! Дать заголовок крупно: «Два полюса Европы». Мельче: «Москва идет путем Лиссабона: от ига к демократии».

– О, вы не поверите! У русских комплекс неполноценности по отношению к евреям, и они компенсируют его звериным, зоологическим антисемитизмом. Сам Соломон Моисеевич Рихтер, которому в принципе не нравилось ничего из писаний молодых, и тот подпал под обаяние этих строк. Личность! Что тут можно сказать? Только привстанешь в кресле да поаплодируешь.

Совершенно ясно, что евреи обитают в неудачном месте. Когда создавалось государство Израиль, то, конечно, думали о Палестине, но не только, предлагали и Техас, и Уганду: там тоже немного опасно, но не до такой степени; короче, добродушно подытожил раввин, не стоит слишком заикливаться на географических аспектах. Бог вездесущ, провозгласил он, все мироздание исполнено Его присутствия.

– Я скажу тебе, только ты не поймешь. Я русский, и жить мне в России. И я не связан, как ты, с этими Рихтерами, которые сегодня здесь, завтра – там. У меня нет другой родины, и не будет никогда. И жизни у меня другой нет, и никогда не будет. Я не могу примерять на себя, как ты, сначала одну жизнь, потом другую, – у меня нет лишних в запасе. Я хочу прожить свою жизнь, и, по-моему, это немало.

– В России очень тяжелый быт, – сказала журналистка, – ведь правда? Но зато много разговоров о смысле жизни. Одно связано с другим, как вы думаете?

– Наверное, поэтому, – едко заметил Оскар, – Ленин и посадил всех философов на пароход – и отправил прочь из России. Чтобы было поменьше разговоров о смысле жизни.

Этимология некоторых слов поразительна! Вот, допустим, слово «изба». Вы знаете, что такое изба, герр Клауке?

– Это маленький деревянный русский дом.

– Да, но название у него немецкое! Русскому мужику немецкие строители показывали на здание и объясняли: *das ist Bau!* Это есть дом! Вот из этого «ист бау» и вышла русская изба. Повторить мужик, конечно, не мог и переиначил по-своему.

– Немецкий очень трудный язык для славян.

– Я не сказал главного, герр Клауке. Вы знаете, что в русском языке никогда не было слова «любовь»? Оно появилось только от немецкого *Liebe!*

– А что говорили раньше?

– Говорили: жалею. Вместо «люблю» говорили «жалею».

– Или, например, слово «гербарий». Есть версия, что происходит оно от латинского «*herba*», то есть «трава». На самом деле в основе лежит «герр барин», так крепостные девки обращались к помещику, чаще всего немцу, выгонявшему их на сенокос.

Прохладный ветер, дувший весь день, внезапно стих, воздух стал тяжелее и жарче; был конец мая, густо зеленели каштаны. Над деревьями высоко и медленно летело небо, белое облако покрывало конец его далекого полукруга. Он посмотрел наверх. В России были другие облака – не такие, как здесь, – так же, как солнце, заходящее за огромный простор полей и лесов. Какая загадочная вещь, какая страшная, непостижимая сила разлилась в морях и реках,

вытянула из земли дубы и сосны – и где начало и смысл этого безвозвратного движения, этого воздуха, насыщенного тревогой, и этой глухой тяги внутри, немного ниже сердца?

Он представил себе дорогу, поля, реки, города, бесконечные российские пространства, болота, леса, большаки, и вот все то же тревожное ощущение, точно улетают птицы.

"Paris Soir!" {"Вечерний Париж" (фр.), название газеты.} – закричал газетчик рядом с ним; он посмотрел на него, не понимая. – Да, надо уезжать.

Чего я такой сумрачный шёл нынче из метро? Об чём я задумался, глядя на мелкий дождь и машины, которые одна за другой проезжали мимо и приятно пахли бензином? В дождь и ветер бензин пахнет домом, тёплой кабиной водителя и дорогой. А я стоял, думая, куда мне идти одному. Денег в кармане было три рубля, а сам я был молодой, и так мне захотелось в эту хмурую погоду выпить, что я переменялся в лице. И причём выпить не одному, глядя, как пустеет бутылка, а с тобой, глядя, как ты улыбаешься и как у тебя светлеют глаза. Я могу писать об этом долго и красиво, но я не буду – денег у меня нет, и всё это песня и мечта. Зачем мучить воображение? Господа и дамы! Должен вам сказать, что надоела мне такая жизнь вдрызг. Жениться, что ли? Нет зрелища прекраснее, чем человеческое счастье. Это правда. «Где начинается семья, кончается нигилизм». А через месяц буду я на Алтае, будет вечер, холод, совсем дикий и чистый воздух, пахнувший, допустим, эдельвейсами, и такая необыкновенная скука будет расстилаться вокруг, что я застрелю свою лошадь, сожгу лагерь, а потом утоплюсь в горной реке, в ледяной воде. А потом сентябрь, проведённый в положении согнувшись за столом, и снова дни до отвращения будут милы, как утро в метро. Неужели всё будет неизменно таким? Зачем отрывать человека от тарелки? Зачем улыбаться в коридорах? Я всегда говорил себе, что есть вещи серьёзнее и что я одержим местечковой скорбью и вся эта малина для мальчиков, которых мучают мокрые улицы, и фонари, и чужие женщины. Всё это так, но я бессилён иногда в хмурую погоду.

Чем же грезил ты, мой друг, моя душа? Может быть, тебе снился очередной опустевший город, может быть дым и запах мокрой шерсти и кислого кумыса. Может быть, о твоё колено тёрся лопухий щенок с влажно-чёрными глазами. Ты часто смотришь в них, когда ночное небо затягивает глуповатыми тучами, и видишь там отражения звездных колючек. Нос у щенка влажный, как распаренная земля, и шершавый на ощупь. Это ощущение тебе просто не с чем сравнить, ведь тебе еще всего пять лет. Щенок едва старше тебя, если сравнивать ваш возраст пропорционально. Ночью вы спите обнявшись, и тебя греет тепло его безмерной, искрящейся любви, не знающей слов. Тебе часто снятся сны, где он выражает свои чувства безудержным звонким лаем, оглушительным лаем, который струится сверкающим потоком прямо из его недр и переполняет лучистой энергией. Он прыгает вокруг тебя, путаясь в ногах, норовя лизнуть в лицо, играючи укусить за руку. Когда он подрастет, он с радостью будет катать тебя на спине, покрытой густой волнистой шерстью, а чуть позже, когда ты наберешься сил, а он успеет стать взрослым и опытным, он будет терпеливо учить тебя охотиться и пасти стада. Вы пройдете много дорог. Неотрывно глядя на танец языков пламени, лижущего сытый ночной воздух, провожая взглядом взлетающие в небо искорки, ты будешь сидеть у костра, отдыхая после трудного дня. Он будет, как обычно, рядом: исполненный степенной силы, с побелевшей от времени и мудрости шерстью. Его голова покоится на твоих руках, веки прикрыты, отчего кажется, что он постоянно дремлет. И когда небо будут заволакивать тяжелые осенние тучи, в его преданных бездонных глазах, подернутых пеленой подступающей слепоты, ты, как и прежде, увидишь колкие точки звёзд, ставших ближе и теплее...

Сейчас, когда ей, вне всякого сомнения, снятся умершие друзья, и деревья, и цветы, и ее побег куда-то в один прекрасный день – побег вроде моего, в какой-нибудь большой город, туда, где многие, многие мужчины будут смотреть на нее с таким же обожанием, с каким сейчас смотрю на нее я.

Жилы твои тренированы были и подход не буквален. Плен её ты не вспомнишь взамен бреда на вокзалы. Волен ты ехать и это опять мука видеть начало. Пахнет спермой и тырсой в составах товарных. В путь пускаясь замки свороти и сорви задвижки, вспышки гнева пускай следопытов жгут у порога. Разве дорога не цель обретения средства. Ветер времени раскручивает тебя и ставит поперёк потока.

Не помню часа, уже стемнело – я услышал грохот и скрежет, по улице шли танки. Я включил радио. Слуховые страхи – из самых сильных. Лязг на асфальте настолько её испугал, что и рукой вдруг дёрнула. Там большущие экскаваторы копают глубокую яму. Я никогда еще не видела ничего подобного. Эти экскаваторы похожи на заржавевшие танки, у которых стволы пушек заменили ковшами. Но вообще тут все как на старых фотографиях моего дедушки.

Когда-то над рекой прогрохотал последний поезд. Уехавший в нём так и не полюбил данный ему город. Он даже попытался описать свою нелюбовь, но оказалось, что город умеет защищаться.

Стань шорохом в злорадном смехе улиц, и пустотой в густом ряду витрин. Плен города... надёжен. Я в нём. Я с ним. Я – осторожен. Маской вообразить себя, белой костью: через тринадцать будет, мол, тридцать семь. Есть города, куда приезжают в гости. Есть города, куда бегут насовсем. Ваш – из каких-то третьих. За утешеньем ехать смешно и лень, а другой судьбы поиски не нужны уже. Быть мишенью стрел вдохновенья – если бы, если бы не беспомощность тет-а-тета – ближе не получается. Очень жаль, что окрылить легко, но кого-то, где-то... Птица из рук не в руки летит, а вдаль. Есть города, откуда никто не пишет. Скоро очнусь, приеду, увижу вас. Есть города, куда не бояться мыши тихо войти, где флейта играет вальс. И появится мышь. Медленно, не спеша, выйдет на середину поля, мелкая, как душа по отношению к плоти, и, приподняв свою обезумевшую мордочку, скажет "не узнаю". Друзья мои швырнули б разводные ключи на пол и гоготали. Я дрожал, как луковичная шелуха при слабом дуновении.

Но откуда тогда эта любовь ко всему забытому и заброшенному, к этим развалинам среди зарослей, к ржавым гвоздям серых заборов, откуда эта усталость у недавно созданного, у юного, казалось бы, овна с крепкими рогами, у воина, колчан которого полон стрел, а голова выточена из цельного куска превосходной кости, почему же так хочется старых тёплых одежд и покоя, почему так манят корабли на дне моря и города на дне времени?..

Я буду идти куда глаза глядят, перекатывая в кармане тот приятно-круглый факт, что скитальца никто не ждёт и отпущенный ему кусок времени больше не нужно делить на прозрачные дольки. Отныне он волен – какое прохладное слово! – волен пинать расплзающимися ботинками пласты мокрых листьев, бродить по длинному городу, отдыхать на парковых скамейках, заигрывая с бесстрашными белочками, а под вечер вспомнить всю прелесть долгого пути вниз, вдоль трамвайных рельсов – пока не откроются за поворотом влажные огни при вокзальной площади.

Среди этой суеты затерялась (заклоченная в скобки) тоска по тому, кто так и не встретился в этих тоннах прошедших тел, кто знал бы – и вдобавок эта отвратительная привычка ходить кругами. Корни её так глубоки, что до сих пор пьют воду тех давних дождей, когда нельзя было уединиться ни в дневниках, ни в письмах. Тебе этого не понять, мама, там, где я сейчас живу... там обнимаются у всех на глазах!

Глава 14. Начало приступов

Каждый раз, как я иду этим путем в обеденный час, ощущаю лихорадку предвкушения. Полная обезличенность в толпе обволакивает смолой теплого человеческого бреда, заставляющего вас бежать вперед подобно слепому пони и прядать горячечными ушами. Всякий окончательно и бесповоротно перестает быть собой и, значит, автоматически становится олицетворением всей человеческой породы, пожимая тысячи рук, болтая на тысяче разных языков, проклиная, аплодируя, насвистывая, напевая вполголоса, разговаривая с собой, ораторствуя,

жестикулируя, мочась, оплодотворяя, подлизываясь, лстя, хныкая, торгуясь, сводничая, воя по-кошачьи и так далее и тому подобное. Ты – все люди, когда-либо жившие по Моисею, и кроме того ты – женщина, покупающая шляпу, клетку для птицы или простую мышеловку. Ты можешь лежать в витрине, как золотое кольцо о четырнадцати карат, а можешь ползти по стене дома подобно человекообразной мухе – ничто не остановит процессию, даже молнии артподготовки, даже вереница моржей, шествующих к устричным отмелям.

Когда в конторах гасят свет и люди расходятся по своим логовищам... Чужие, незнакомые дома, озабоченные лица. Где она пропадала? Было уже довольно поздно. Наступал час, когда они чувствуют себя выбитыми из колеи, потому что жизнь вокруг сбавляет ход. Это время полупризнаний. Нет на земле прекраснее повтора, чем в доме непогасший свет. Ах, улыбнись в оставленных домах, где ты живёшь среди вороха бумаг. Как хорошо в оставленных домах любить других и находить других, из комнат, бесконечно дорогих.

К концу дня, к вечеру, к ночи ближе человеку хочется дать жалостливым чувствам волю. Хочется себя укорить. Душе сухо. Душе шершаво. А события дня слишком мелки, скупо будничны, не достают и недобирают, чтобы царапнуть. Чтобы отвлечься, я скачиваю почту. Это почти безнадежно, потому что вся страна спит – слева еще засыпает, справа только просыпается, – и никто мне не пишет.

Вот скулит человек. Да разве ж оттого, что ты поскулишь, тебе полегчает?

Поднимался по лестнице медленно, как старик. Тихо говорил: «Сегодня... дурной... день...» На каждое слово приходилось по ступеньке. «Кузнечиков... хор... спит...»: еще три ступеньки. И еще раз те же строчки – на следующие шесть ступенек. Дальше я не помнил и для разнообразия попытался прочитать стихотворение в обратном порядке: «...спит ...хор... кузнечиков», но обнаружил, что так его можно читать, только если спускаешься.

Оттуда, где я находился, можно было кричать людям всё, что угодно. Я попробовал. Меня от них мутило. У меня не достало духу бросить им это днём в лицо, но сверху, где я ничем не рисковал, я крикнул: «На помощь! На помощь!» – крикнул просто так, чтобы посмотреть, подействует ли на них мой призыв. Нет, не подействовал. Круглые сутки они толкали жизнь перед собой, как тачку. Жизнь заслоняет от них всё. Собственный шум мешает им слышать. Им на всё плевать. Чем город больше и выше, тем больше им плевать. Они воздвигали его во славу своим болванам. Это я вам говорю: я пробовал. Ты можешь разоблачаться беспробудно, бесстыдно, вплоть до прямой кишки – никто не заметит.

И даже если это было чересчур приторно, даже если не угадал, – псу, оставленному сторожить такие памятные крыши, хотелось скулить, тихо подвывать и тереть лапами морду. Все это бессмысленно. Могу всю ночь приводить доводы "за" и "против". И та же проблема: кто тот единственный "он"? Навернулись слёзы – внезапно, как это стало часто случаться с ним в последнее время. Наконец он сел и заплакал.

На него начало находить что-то вроде отчаянья. Мне хотелось одного – свернуться в клубок и исчезнуть навсегда со всех планов бытия и небытия, но это было невозможно именно из-за боли, которая с каждой секундой становилась сильнее. Я заметил, что кричу, и попытался замолчать. Это получилось не до конца – я перешел на мычание.

О, друг моих сияющих лет, несчастный однофамилец, – ты так хотел спасти тогда, что же не спас! – рёв нарастает, сейчас хлынут молнии, – едкий запах, моя гнедая рука... Убиваю больно, но быстро. Боль напитала дерево гордыни, она же его и сокрушит.

Так что это случилось совершенно на ровном месте, когда к ночи я завыл, как пенопласт о стекло. Лагерная сука. Биться головой об стену, ища какого-то своего собственного, отдельного исхода. Этот приступ был стремителен, беспричинен. Я кричал и кричал и когда я изошёл в вое и в крике, мне полегчало. Я верю в крик. Вой не бывает неискренним. "Мы существуем, пока ещё чувствуем боль", – повторял ты на странном языке тишины. Хотелось потерять сознание.

Однажды ночью, когда в припадке особенно болезненной тоски и одиночества я шел по улице, некоторые вещи открылись мне с необычайной ясностью. Стояли сизые сумерки, было нелюдимо и холодно. Было утро, улицы были пусты, асфальт мокрый и чёрный, автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивались на перекрёстках. Небо было такое, что хотелось смотреть вверх. А в городе неба не замечали и никогда не хотелось смотреть вверх. Небо для них было пустынно и безразлично. Здесь и солнце было какое-то тусклое.

Над миром грешным плывут ночами – проспект Надежды, бульвар Печали. Над серой глыбой озябших зданий – квартал улыбок, кольцо свиданий. Округляя свои груди, тихо плыли светлые облака. Они летали вокруг жилых массивов и воровали простыни, которые повесили сушиться хозяйственные люди. Как беличьи расстеленные шкурки воздушные висели трусики... Интересно, зачем облакам – простыни? Тогда как в применении к людям этот вопрос настолько же актуален, как, скажем, какой длины потребовалась бы нам ложка, если бы облака были из ванильного мороженого. Но башмак. Способен ли, как и все, забыться в раздумье, в росе? Да. Но – в общем-то – нет. Учебник логики скажет вам, что абсурдно утверждать, будто желтый цвет имеет цилиндрическую форму, а благодарность тяжелее воздуха; но в той смеси абсурдов, которая составляет человеческое «Я», желтый цвет вполне может оказаться лошадьё с тележкой, а благодарность – серединой будущей недели. В полдень кошки заглядывают под скамейки, проверяя, черны ли тени. Тучи-медвежата.

Как камень я стою среди камней, прося лишь об одном: "Не подходите, не трогайте руками и посторонних надписей на мне не делайте". Здесь, в нашей милой отдалённости. Невежество помогает сосредоточиться, хотя, здесь у всех вполне сносное образование. Для корота-ня слишком глухих ночей, хотя, ночью здесь, в общем, делать нечего.

Поглядывающий за чьими-то делишками. До чего же глупо устроено всё на свете. До чего же смешны люди, правда? Как усыпительна жизнь...

Идя по направлению к дому, я грешил отдалиться течению жизни и не делать ни малейшей попытки бороться с судьбой, в каком бы обличье она ни явилась ко мне. Всего, что случилось со мной до сих пор, оказалось недостаточно, чтобы меня уничтожить; ничто не погибло во мне, только иллюзии. Я остался невредим.

Меж ваших тайн, меж узких дырок на ваших лицах, господа, (from time to time, my sweet, my dear, I left your heaven), иногда. "We can't believe", – говорят они, и можно держать пари, что плотник сломает замок, но никого не найдёт внутри.

Добавим, что если во времена, когда людей было мало, человеку выгодно было прославиться, то теперь, когда он совсем обесценился, дело обстоит совсем иначе. Чьего уважения стоит добиваться на нашей загроможденной телами планете, где мысль о ближнем лишилась всякого содержания? Любить человечество уже невозможно ни оптом, ни в розницу, а желание всего лишь выделиться из него – это уже симптом духовной смерти. Ужас славы происходит от ужаса перед людьми: став взаимозаменяемыми, они оправдывают своим числом отвращение, которое вызывают. Недалек тот момент, когда нужно будет оказаться в очень хорошем расположении духа, чтобы если не любить, ибо это невозможно, то хотя бы переносить их. Во времена, когда ниспосланные провидением эпидемии чумы опустошали города, каждый выживший справедливо внушал некоторое уважение: это был еще живой человек. Сейчас таких больше нет, а есть лишь кишение агонизирующих, пораженных долголетием существ, особенно отвратительных тем, что они так прекрасно обставляют свою агонию.

Каковы бы ни были его заслуги, здоровый человек всегда разочаровывает. Невозможно испытывать хоть малейшее доверие к тому, что он говорит, и находить в его речах что-то, кроме уловок и словесных выкрутасов. Только опыт ужасного придает некую весомость нашим доводам, здоровяк же им не обладает, как не в состоянии он вообразить себе несчастье, без которого никто не может общаться с теми обособленными существами, какими являются больные; хотя, если бы ему на это хватило воображения (не найти пульса у себя на руке), он уже

не был бы вполне здоровым человеком. Не будучи заряжен негативным опытом, нейтральный до самоотречения, он барахтается в здоровье, в состоянии безличного совершенства, в нечувствительности к смерти и ко всему прочему, в невнимании к себе и миру. Пока он пребывает в этом состоянии, он подобен предметам; как только он из него выпадает, он становится для всего открытым и сразу познает всеведение страха.

Имею удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здоровье. Мавляна сказал так в одном из своих бейтов: "Точно так же, как красивые люди ищут чистые и прозрачные зеркала, так и люди щедрые желают видеть людей слабых и беспомощных. Красивые люди становятся пленниками зеркал, любуясь своей красотой и статью. Проходя даже мимо затемненных стекол, они смотрятся в них, чтобы увидеть себя. Душевная щедрость же, являющаяся истинной красотой, видит себя в зеркале душ людей бедных, несчастных и беспомощных".

Глава 15. Об искусстве

Теперь можно дать ответ на вопрос: что значит изучать произведение искусства? Две крайности, подстерегающие искусствоведение – полная изоляция произведения искусства от мира и полное растворение его в мире. В первом случае познание может быть лишь интуитивным или вообще невозможно. («Прекрасное – это экстаз: оно так же просто, как голод. О нем, в сущности, ничего не расскажешь. Оно – как аромат розы: его можно понюхать, и все... Все, что может сказать критик по поводу... картины – это посоветовать вам пойти и на нее посмотреть. Все остальное, что он скажет, будет или историей, или биографией, или чем-нибудь еще»).

Например, в одном из стихотворений американской поэтессы Эмили Дикинсон говорится о полете колибри как о «пути исчезновения». В данном случае благодаря свойствам поэтического языка, которые представляют собой «лингвистическую фантазию», произошло наложение двух перспектив: восприятия полета птицы и идеи об эфемерности жизни.

Если поэзия обладает глубоким проникновением в самую сущность вещей, то те воображаемые атрибуты, которые она приписывает явлениям действительного мира, фактам реального восприятия, как бы начинают «просвечивать» сквозь те свойства, которые фиксирует это восприятие. Таким образом, поэтический объект строится на границе двух «миров» сознания: фантазии и реального восприятия. Поэтический объект существует «как если бы» он являлся зеркальным отражением того, что мы называем реальным миром, хотя в действительности он не является таковым.

Искусство и так стоит в чрезвычайно подозрительном отношении к жизни. Именно неживотность, в представлении рафинированного интеллектуала, и есть первопричина духовности. Искусство, к примеру, возникает именно от неспособности жить естественной, нехитрой природной жизнью. Вспомним известный фрейдистский пример. Кенарь в природе поет, чтобы приманить самку. После ее появления всякие песни прекращаются – уже не до того. Надо вить гнездо и выводить птенцов. Но если кенаря запереть в клетку, он будет петь без всякого ошутимого биологического результата и рано или поздно найдет удовольствие в самом процессе пения, выводя все более изысканные рулады. Так и у людей. Мало кто не писал стихов в период достижения половой зрелости. И только тот, за кем не явилась хозяйственная дама сердца, продолжает совершенствоваться в поэтическом мастерстве до глубокой старости. Если бы З. Фрейду удалось сделать своим пациентом все человечество, как он планировал, всякому искусству пришел бы полный конец. Невозможно вылечить художника от невроза. Художник – это и есть невроз. Или, если выразиться точнее, невроз – его муза, периодически выводящая художника из здорового животного состояния. Дело не в том, что некто влюбился в очаровательную женщину, а в том, что эта эмоция открыла ему дали, никак не связанные с чаровницей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.